

Виктор Конецкий
За Доброй Надеждой

Конецкий В. В.

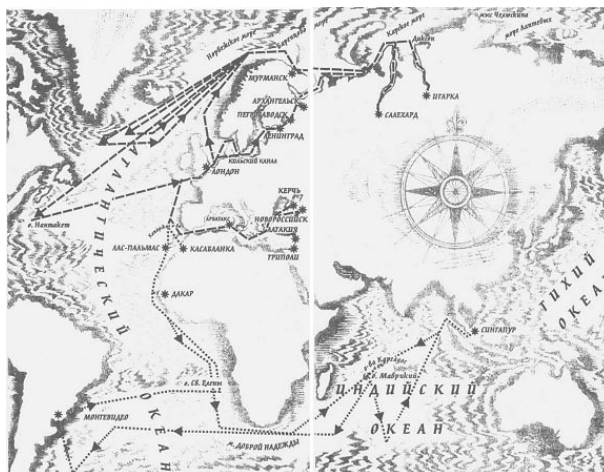
За Доброй Надеждой / В. В. Конецкий —

Книга петербургского писателя, моряка Виктора Викторовича Конецкого – это воспоминания о его морских рейсах, плаваниях по российским водам и к берегам далеких стран. В этом лиричном повествовании – размышления о прошлом и настоящем, трагическом и смешном, будничном и героическом.

Содержание

Часть 1	6
Набережная Лейтенанта Шмидта	6
Середина жизни	12
1	12
2	13
Мосты и речки	16
Архангельские встречи	21
Поплыли	29
1	29
2	34
3	36
4	41
Вайгач	44
Лабытнанги – Ленинград	51
1	51
2	56
3	61
Новый год у набережной Лейтенанта Шмидта	63
Франциска	71
Как я не написал статью об арктическом туризме и что из этого вышло	76
Морской экзамен	86
1	86
2	88
3	91
О чем думается в спокойные предутренние вахты	101
Странные капитаны	110
В шторм и штиль	117
Конец ознакомительного фрагмента.	119

Виктор Конецкий За доброй надеждой Роман-странствие



Часть 1

Соленый лед

Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре.

Г. Д. Торо. Жизнь в лесу

Набережная Лейтенанта Шмидта

В феврале я узнал, что суда, на которые получу назначение, зимуют в Ленинграде у набережной Лейтенанта Шмидта, и пошел взглянуть на них.

После оттепели подмораживало, медленно падали с густо-серого неба белые снежинки, на перекрестках виднелись длинные следы тормозивших машин – был гололед.

Я вышел к Неве, дождался, когда милиционер отойдет подальше, спустился на лед и пошел напрямик через реку к низким силуэтам зимующих судов. На реке было тихо, городские шумы отстали, и только шуршала между низких торосов поземка.

Так она шуршала двадцать два года назад, когда я тринадцатилетним пацаном тем же путем спустился на лед и побрел к проруби с чайником в руках. Вокруг проруби образовался от пролитой замерзшей воды довольно высокий бруствер. Я лег на него грудью, дном чайника пробил тонкий ледок и долго топил чайник в черной невоской воде. Она быстро бежала в круглом окошке проруби. Мороз был куда сильнее, чем теперь, ветер пронизывал, а поземка хлестала по лицу. Я наполнил чайник, вытащил его и поставил сзади себя. И потом еще дольше возился со вторым чайником, пока зачерпнул воды. И тогда оказалось, что первый накрепко примерз своим мокрым дном ко льду. Я снял рукавицы, положил их на лед, поставил на них второй чайник и обеими руками стал дергать первый.

На набережной Лейтенанта Шмидта заухала зенитка. Это была свирепая зенитка. От нее у нас вылетело стекло из окна даже без бомбежки.

Я бил чайник валенками, дергал за ручку и скулил, как бездомная маленькая собака. Я был один посреди белого невоского пространства. И мороз обжигал даже глаза и зубы. И я не мог вернуться домой без воды и чайника.

Черт его знает, сколько это продолжалось. Потом появился на тропинке здоровенный матрос. Он без слов понял, в чем дело, ухватил примерзший чайник за ручку и дернул изо всех своих морских сил. И тут же показал мне подковы на подошвах своих сапог – ручка чайника вырвалась, и матрос сделал почти полное заднее сальто. Матрос страшно рассердился на мой чайник, вскочил и пнул его каблуком.

– Спасибо, дядя, – сказал я, потому что всегда был воспитанным мальчиком.

Он ушел, не сказав «пожалуйста», а я прижал израненный чайник одной рукой к груди, а в другую взял второй. Из первого при каждом шаге плескалась вода и сразу замерзала в моей руке. От боли и безнадежности я плакал, поднимаясь по обледенелым ступенькам набережной...

И вот спустя двадцать два года я остановился приблизительно в том месте, где была когда-то прорубь, и закурил. «Интересно, жив ли тот матрос, – подумал я. – А может, он не только жив, но мы и сплавали с ним вместе не один рейс... Разве всегда узнаешь тех, с кем раньше уже пересекалась твоя судьба?»

Прямо по носу виднелся плавучий ресторан «Чайка», и я было взял курс на него, чтобы чего-нибудь выпить. Но вокруг ресторана лед был в трещинах, и я выбрался на набережную

возле спуска, где торчит на самом юру идиотская общественная уборная. Такое красивое знаменитое место – рядом Академия художеств, дом академиков, сфинксы из древних Фив в Египте – и круглая общественная уборная.

Я оставил уборную по корме, убедился в том, что ресторан закрыт на обеденный перерыв, выпил теплого пива у синего фанерного ларька, получил из мокрых рук продавца мокрую сдачу и медленно пошел вдоль набережной, рассматривая те суда, которые предстояло мне гнать на Обь или Енисей. Суда стояли тесным семейством, борт к борту, в четыре корпуса. Узкие и длинные сухогрузные теплоходы, засыпанные снегом. Два дизеля по триста сил, четыре трюма, грузоподъемность шестьсот тонн, от штевня до штевня около семидесяти метров – все это вместе взятое на обыкновенном морском языке называется «речная самоходная баржа». И утешаться следует только тем, что слово «баржа» похоже на древнее арабское «бариджа», обозначавшее некогда грозный пиратский корабль.

«Может, откуда-нибудь оттуда и „абордаж“?» – подумал я, рассматривая с обледенелой набережной свою близкую судьбу. Судьба выглядела невесело. Иллюминаторы были закрыты железными дисками, с дисков натекли по бортам ржавые потеки, брезентовые чехлы на шлюпках, прожекторе, компасе почернели от сажи. На палубах змейками вились тропинки среди метровых сугробов. Тропинки, очевидно, натоптали вахтенные. Провисшие швартовые тросы кое-где вмерзли в лед.

– Ах, эти капельки на тросах, ах, эти тросы над водой, – бормотал я про себя. – Ах, корабли, которым осень мешает быть самим собой...

Именно мне предстояло приводить эти суда в приличный для плавания по морям вид. А пока смотреть на длинные гробики не доставляло никакого удовольствия.

И я пошел дальше по набережной Лейтенанта Шмидта. Я люблю ее. И лейтенанта Шмидта. Он один из главных героев детства.

Набережная – моя родина. Где-то здесь мы стояли в сорок восьмом году, с вещмешками за плечами, в белых брезентовых робах, в строю по четыре, и ждали погрузки на старика «Комсомольца». Мы отправлялись в первое заграничное плавание. На другой стороне набережной толпились все наши мамы и наши девушки. И только пап было чрезвычайно мало. У нашего поколения не может быть никаких разногласий с отцами хотя бы потому, что не многие своих отцов помнят. И когда сегодня я попадаю в семейство, где за ужином собираются вокруг стола отец, мать, дети и внуки, то мне кажется, что я попал в роман Чарской и все это совершенно нереально. И если я вижу на улице старика с седой бородой, неторопливой повадкой и мудростью в глазах, то мне кажется, что я сижу в кино. Потому что стариков у нас осталось очень мало. Их убили еще в пятом, в четырнадцатом, восемнадцатом, двадцатом, сорок первом, сорок втором и в другие годы.

А если ты вырос без отца и без деда, то обязательно наделаешь в жизни больше глупостей.

Да, от гранита этой набережной я первый раз ушел в плавание на старом большом учебном корабле с тремя трубами. Когда-то он назывался «Океан», а потом стал «Комсомольцем». На кнехтах остались старинные надписи: «Океань». Кажется, как вспомогательный крейсер старик принимал участие в Цусимском бою.

Нас набили в его огромные кубрики по самую завязку. Мы качались в парусиновых койках в три этажа. И когда по боевой тревоге верхние летели вниз, то нижним было больно.

А самой веселой у нас считалась такая провокация. Тросики верхней койки смазывались салом. Это делалось, конечно, втайне от хозяина. Хозяин спокойно залезал к себе под потолок и засыпал. Ночью крысы шли по магистралям к вкусным тросикам и грызли их. Тросики рвались, и жертва летела на спящего внизу. Подвесная койка – не двуспальная кровать, она рассчитана строго на одного. Когда в ней оказывалось двое, она переворачивалась. И уже втроем жертвы шлепались на стальную палубу. Грохот и проклятия будили остальных.

И с нами вместе тихо посмеивался старый «Комсомолец». Наверное, ему было приятно возить в своем чреве восемнадцатилетних шалопаев.

Старика разрезали на металлолом всего года два назад.

Мы ходили на нем в Польшу – возили коричневый брикетированный уголь из Штеттина в Ленинград.

Я помню устье Одера, вход в Свинемюнде, два немецких линкора или крейсера, затопленных по бокам фарватера. Их башни торчали над водой, и волны заплескивали в жерла орудий. Мы прошли мимо и увидели неожиданно близкую зелень берегов Одера. А в канале детишки махали нам из окон домов. Дома возникали метрах в двадцати от наших бортов.

Мы первый раз в жизни входили в чужую страну по чужой воде. Мы стояли на палубах и ждали встречи с чем-то совершенно неожиданным, удивительным. Мы думали открыть для себя новый мир. Недаром в детстве я считал слово «заграница» страной и писал его с большой буквы. Теперь-то я знаю, что все люди на земле живут одними заботами, а потому и очень похожи друг на друга.

И мы вошли в Штеттин. Обрушенные мосты перегораживали реки и каналы. Кровавые от кирпичной пыли стены ратуши были единственным, что уцелело в городе. Союзная авиация постаралась. Руины густо заросли плющом. Плющ казался лианами.

Мы ошвартовались, и человек сто пленных немцев закопошились на причале, готовясь к погрузке. Они подавали уголь на борт и ссыпали его в узкие горловины угольных шахт. А мы работали в бункерах, в крошечной тьме и пыли. И все мы были совершенными неграми. А после работы мы развлекались тем, что кидали пленным на причал пачку махорки. Немцы бросались в драку из-за нее под наш залихватский свист.

Война только что кончилась. Мы хотели есть уже шесть лет подряд. Шесть лет мы хотели хлеба в любой час дня и ночи. И мы были по-молодому жестоки. Когда здоровенные немцы лупили друг друга на причале, мы получали некоторое удовольствие. Это было, из песни слова не выкинешь.

И еще помню: один из пленных договорился с нами, что если он переберется по швартовому тросу на борт корабля, то получит целую пачку махорки. Метров пятнадцать-двадцать толстого стального швартова, скользкого и в проволочных заусеницах.

Немец отважно повис на тросе и пустился в путь на руках. Посередине он выдохся и замер над мутной одерской водой. Его друзья орали что-то с причала. А мы начали готовить спасательные круги. Немец попытался закинуть на трос ноги, но у него это не получилось, и он шлепнулся в воду с высоты семи метров под наши аплодисменты.

Мы вытащили немца и дали ему три пачки махорки за смелость. И после этого случая как-то даже подружился с пленными. Может быть, это произошло и потому, что все мы от угольной пыли одинаково походили на негров.

Я вспомнил свою юность и отправился дальше по набережной Лейтенанта Шмидта, думая о том, что лейтенант, очевидно, был из немцев и как все у нас с немцами перепуталось. Вот я скоро пойду в море на судне, построенном в ГДР. Оно сейчас зимует совсем недалеко от проруби, в которой я брал воду двадцать два года назад по вине немцев. А лейтенант Шмидт геройски погиб за нашу революцию и за то, чтобы на земле никогда не было войн. А вот стоит памятник первому русскому плователю вокруг света Ивану Крузенштерну. И более странное сочетание – «Иван» и «Крузенштерн» – придумать трудно. Правда, адмирал не был немцем, он эстонец.

Адмирал стоял высоко надо мной, обхватив себя за локти. Снег украшал его эполеты. Он добро глядел на окна Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе.

Ваня Крузенштерн покинул это здание много-много лет назад, а теперь стоит здесь и не уйдет больше никогда.

Во времена моей юности среди курсантов бытовала история, связанная с адмиралом. Какой-то курсант познакомился на танцах с девушкой. И девушка, наверное, сразу полюбила его, и они даже поцеловались где-нибудь за портьерой. И когда расставались, то девушка спросила, как можно найти его в училище, она хочет повидать его еще до следующей субботы, потому что семь дней – это ужасно длинный срок. А курсант был веселым парнем, и девушка, вероятно, нравилась ему меньше, нежели он ей. И он сказал:

– Приходи на проходную и спроси Ваню Крузенштерна. Меня все знают.

И она пришла уже в понедельник и спросила у дежурного мичмана Ваню Крузенштерна. Дежурный мичман взял ее за руку, вывел на набережную и показал на памятник:

– Иди к этому памятнику. Твой парень стоит сейчас там, – объяснил он.

И она пересекла набережную, ступая по мокрому асфальту своими единственными туфельками на каблучках, и все оглядывалась по сторонам, чтобы скорее увидеть Ваню. И наконец прочитала надпись на цоколе: «Первому русскому плователю вокруг света Ивану Крузенштерну». Адмирал добро глядел мимо нее, и кортик неподвижно висел у его левого бедра.

Но какое дело девушкам в туфельках на каблучках до бронзовых адмиралов? Она заплакала и ушла, чтобы не возвращаться. Вот какую историю рассказывали в наше время про Ваню Крузенштерна.

Это избитая истина: как только вспомнишь юность, становится грустно. Вероятно, потому, что сразу вспоминаешь друзей своей юности. И в первую очередь уже погибших друзей.

Здесь, возле памятника Крузенштерну, я последний раз в жизни видел Славу.

Тот же влажный ленинградский ветер. Промозгло, серо. Тот же подтаивающий серый снег на граните. И купола собора, лишённые крестов и потому кургузые, незаконченные, тупые.

И так же точно, как теперь, я выпил подогретого пива в маленьком ларечке недалеко от моста Лейтенанта Шмидта, закурил, засунул руки в карманы шинели и пошел по набережной к Горному институту, вдоль зимующих кораблей, вдоль якорных цепей, повисших на чугунных пушках. И ветер с залива влажной ватой лепил мне глаза и рот. И я думал о прописке, жилплощади и мечтал когда-нибудь написать рассказ о чем-нибудь очень далеком от паспортисток и жактов.

И у памятника Ване Крузенштерну встретил Славу. Он шагал по ветру навстречу мне, подняв воротник шинели и тем самым лишённый раз наплевав на все правила ношения военноморской формы. На Славкиной шее красовался шерстяной шарф голубого цвета, а флотский офицер имеет право носить только черный или совершенно белый шарф. Из-за отворота шинели торчали «Алые паруса» Грина. А фуражка, оснащенная совершенно неформенным «нахимовским» козырьком, выпиленным из эбонита, сидела на самых ушах Славки.

Надо сказать, что за мою юношескую жизнь творения Александра Грина несколько раз делались чуть ли не запретными. А Славка всегда хранил верность романтике и знал «Алые паруса» наизусть.

Славка прибыл к нам в военно-морское училище из танковых войск. Он попал в танковые войска из-за какой-то темной истории.

В шестнадцать лет Славка связался со шпаной. Это, наверное, были смелые ребята. И тем они пленили его. Кто из нас, шестнадцатилетних, не мечтал проверить свое мужество на чем угодно, если судьба помешала нам принять участие в боях?

Однажды Славку попросили постоять на углу и посмотреть, не идет ли милиционер. В воздухе пахло опасностью, и Славка не мог отказаться. А его друзья ограбили квартиру. Их поймали, и Славке грозила статья за соучастие. Он прибавил себе лет в метрике и добровольно ушел в армию, попал в танковые войска и стал механиком-водителем. От работы с фрикционными плечи у него раздались, обвисли, а руки стали железной хватки.

Служить в танковых войсках тяжело, особенно зимой. Но Слава нес свою службу без уныния. Все самое тяжкое забывалось, когда он чувствовал свою власть над мощной машиной, ее послушность, ее дерзость, ее желание рвануться в бой. И когда падали впереди деревья и грохались на броню комья мерзлой земли, Слава бывал счастлив. Наверное, он здорово привык к тесному миру танка, потому что потом стал подводником.

Начальство всегда считало его разгильдяем. И, пожалуй, не без оснований. Все, что не было романтичным в его понимании, не могло его интересовать. В те уже далекие послевоенные времена казалось, что конец войны сразу должен означать начало чего-то прекрасного, легкого, свежего. Но началась «холодная война», воздух общественной жизни тяжелеет. И мы в своих казармах половину времени думали о шпионах. Единственной отдушиной были книги Паустовского, его настроенческая проза, проникнутая грустной мечтой о красоте.

Мы были молоды, и многое путалось в наших головах. И в Славкиной тоже. Когда-то он мечтал стать кинорежиссером, прочитал уйму американских сценариев и рассказывал нам их. И ночами слушал джаз. Он владел приемником, как виртуоз скрипач смычком. Из самого дешевенького приемника он умел извлекать голоса и музыку всего мира. Учился он паршиво. Но великолепно умел спать на лекциях. Великолепно умел ходить в самовольные отлучки. И ему дико везло при этом. Наверное, потому, что у Славки совершенно отсутствовал страх перед начальством и взысканиями.

Я не знаю другого человека из военных, которому было бы так наплевать на карьеру, как Славке.

Он учил меня прыжкам в воду. И мы однажды сиганули с центрального пролета моста Строителей и тем вывели из равновесия большой отряд водной и сухопутной милиции. Для меня это был последний такой прыжок. В те времена я увлекался гимнастикой и большую часть времени в перерывах между занятиями проводил головой вниз, отрабатывая стойку на кистях. Эта стойка меня и подвела. С большой высоты я врезался в воду чересчур прогнувшись, ударился глазами и чуть не поломал позвоночник.

А Славка повторил прыжок уже с Кировского моста. Он ухаживал за какой-то девицей, а она пренебрегала им. Тогда он вызвал ее на последнее роковое свидание и явился одетый легко – в бобочке и тапочках. И они зашагали через мост. На центральном пролете Слава мрачно спросил:

– Ты будешь моей?

– Нет, – сказала она.

– Прощай! – сказал Слава и сиганул через перила с высоты шестнадцати метров в Неву.

И тут девица заметалась между трамваями и автомобилями. А Слава выплыл где-то у Петропавловской крепости. Конечно, если бы он не начитался предварительно американских сценариев, то не додумался бы до такого способа воздействия на женскую психику. Правда, девица в отместку за пережитый страх дала Славке по физиономии. И они расстались навсегда.

При всем при том Слава имел внешность совершенно невзрачную, был добродушен, и толстогуб, и сонлив. Но не уныл. Я никогда не видел его в плохом, удрученном состоянии. Он радостно любил жизнь и все то интересное, что встречал в ней. Его не беспокоили тройки на экзаменах по навигации и наряды вне очереди. Он выглядел философом натуральной школы и чистокровным язычником. Естественно, такие склонности, и запросы, и поведение не могли нравиться начальству. Больше того, его выгнали бы из училища давным-давно, не умеи он быть великолепным Швейком. Его невзрачная, толстогубая физиономия напрочь не монтировалась с джазовыми ритмами, и самовольными отлучками, и любовью к выпивке.

И вот мы встретились с ним на набережной Лейтенанта Шмидта в середине пятидесятых годов.

– Ты бы хоть воротник опустил, – сказал я.

– У меня недавно было воспаление среднего уха, старик, – сказал он.

Мы не виделись несколько лет. Я служил на Севере, а он на Балтике. Я плавал на аварийно-спасательных кораблях и должен был уметь спасать подводные лодки. А он плавал на подводных лодках.

– Здорово! – сказал я.

– Здорово! – сказал он.

И мы пошли выпить. В те времена на углу Восьмой линии и набережной находилась маленькая забегаловка в подвале.

Я уговаривал его бросить подводные лодки. Нельзя существовать в условиях частых и резких изменений давления воздуха, если у тебя болят уши.

– Потерплю, – сказал Славка. – Я уже привык к лодкам. Я люблю их.

Через несколько месяцев он погиб вместе со своим экипажем.

Оставшись без командира, он принял на себя командование затонувшей подводной лодкой. И двое суток провел на грунте, борясь за спасение корабля. Когда сверху приказали покинуть лодку, он ответил, что они боятся выходить наверх – у них неформенные козырьки на фуражках, а наверху много начальства. Там действительно собралось много начальства. И это были последние слова Славы, потому что он-то знал, что уже никто не может выйти из лодки. Но вокруг него в отсеке были люди, и старший помощник командира считал необходимым остеречь, чтобы поддержать в них волю. Шторм оборвал аварийный буй, через который осуществлялась связь, и больше Слава ничего не смог сказать.

Когда лодку подняли, старшего помощника нашли на самой нижней ступеньке трапа к выходному люку. Его подчиненные были впереди него. Он выполнил свой долг морского офицера до самого конца. Если бы им и удалось покинуть лодку, он вышел бы последним. Они погибли от отравления. Кислородная маска с лица Славы была сорвана, он умер с открытым лицом, закусив рукав своего ватника.

Я остановился возле Горного института и в память Славки снял шапку, глядя на простор неевского устья, на гигантские красные корпуса строящихся танкеров, на далекие краны порта.

Вечерело, снег все крутился в сером воздухе, звякали трамваи, и гомонили на ступеньках Горного института студенты.

Я устал от воспоминаний.

«Это дело тоже требует большого напряжения», – подумал я. И пошел к трамваю. Надо было ехать домой и готовиться к техминимуму, листать учебники по навигации и повторять «Правила предупреждения столкновения судов в море». Ничто так легко не забывается, как эти правила. Их приходится повторять всю жизнь.

Середина жизни

1

Тридцать пять лет считается серединой жизни. Многие в этом возрасте попадают в кризис. Например, Данте в тридцать пять тоже затосковал:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины...

Утратив правый путь, Данте сел и написал «Божественную комедию». Ему утрата правого пути помогла войти в бессмертие. А у меня «Божественная комедия» не получалась.

Мой первый рассказ был о детской любви, седом капитане и очаровательной художнице, которую я поместил почему-то на Шпицбергене, хотя никогда там не был. Вероятно, я исходил из того, что Данте тоже не был в аду. Мурашки бегали по коже от восторга, когда я перечитывал свое сочинение. Оно характерно абсолютным отсутствием какой-либо мысли.

В литобъединении, где мы проходили свои университеты, существовал специальный литературоведческий термин: «писать животом», что означает писание без помощи головы. Я хорошо усвоил этот метод, потому что пользовался им с раннего детства, чисто интуитивно впитал его, никто в меня его не вколачивал. А то, что в тебя не вколачивают, почему-то впитывается особенно крепко.

Лет в тридцать меня потряс Довженко. Он сказал, что «писатель, когда он пишет, должен чувствовать себя равным самому высокому политическому деятелю, а не ученику или приказчику».

Не знаю, поднимался ли сам Довженко до таких вершин, но мне стало ясно, что писать надо бросить. Каким я могу быть политиком, если не знаю толком истории мира и своей собственной страны, не знаю многих знаменитых произведений литературы, не знаю иностранных языков и если на голову мою за сравнительно короткую жизнь свалилось вполне приличное количество всякой путаницы.

Но писать я не бросил, потому что обнаружил у Довженко эгоцентризм и выпячивание писательской профессии. По Довженко получается, что обыкновенный, непишущий человек имеет право быть всю жизнь учеником или даже приказчиком.

«В том-то и дело, – успокоил я себя, подумав, что у нас каждый должен быть политиком. – Читатель зачастую знает о жизни не меньше писателя. А часто и больше. И политик он лучший, потому что бывает смелее. Разница между писателем и читателем сегодня только в том, что писателю Бог дал способность или нахальство для писания, а читатель только читает».

Около года я продолжал спокойно работать над четырехтомной эпопеей.

И вдруг узнал, как поразился Томас Манн вопросом, который Чехов все задавал и задавал себе: "Не обманываю ли я читателя, не зная, как ответить на важнейшие вопросы? "

Это поразило и меня. Я точно знал, что не могу ответить на важнейшие вопросы современности. Я в этом не сомневался.

Работа над эпопеей застопорилась.

Но потом я как бы опять прозрел: ведь если не мог ответить сам Чехов, то мне и подавно можно не отвечать. Томас Манн был согласен с моим заключением. Он писал: «Так уж повелось: забавляя рассказами погибающий мир, мы не можем дать ему и капли спасительной истины. И несмотря на все это, продолжаешь работать, выдумываешь истории, придаешь им правдоподобие и забавляешь нищий мир в смутной надежде, в чаянии, что правда в веселом

обличье способна воздействовать на души ободряюще и подготовить мир к лучшей, более красивой, более разумно устроенной жизни».

Я продолжал работу над эпопеей, стараясь показывать правду в веселом обличье. Сперва мне казалось, что это много легче, нежели отвечать на все важнейшие вопросы. Путь к правде давным-давно известен: надо быть искренним – вот и все. Смущало только, почему Толстой так ценил искренность в том же Чехове, например: «Он был искренним, а это великое достоинство: он писал о том, что видел и как видел... И благодаря искренности его, он создал новые, совершенно новые, по моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде!»

Значит, чтобы быть искренним и создать новые для всего мира формы, надо писать о том, что видишь и как видишь. А что и как вижу я?

Вот этот вопрос я и задал себе в тридцать пять лет. И попал некоторым образом в положение сороконожки, у которой спросили, с какой ноги она начинает прогулку.

Перечитав эпопею, я обнаружил, что все написанное писал не я, а черт знает кто. Быть может, тот, кого я из себя изображаю. Быть может, доктор-окулист, который еще в детстве прописал мне по ошибке очки от близорукости.

Я смутно понял, что стать самим собой так же трудно, как поехать на Невский проспект, вылезти у Казанского собора, раздеться в скверике донага и – мало того – в голом виде забраться на постамент к Барклаю де Толли.

Во-первых, холодно – простудишься и заболеешь воспалением легких. Во-вторых, опасно – прямо с Барклая де Толли тебя могут отправить в милицию или сумасшедший дом. В-третьих, все это окажется так некрасиво, что потом от стыда повесишься сам.

Живо представив себя на цоколе памятника Барклаю де Толли, я понял, что меня скорее всего элементарно побьют.

Эпопея рухнула. Город давил на мозг.

И я отправился в деревню, в те псковские святые места, куда наш брат писатель ездит в разные трудные моменты жизни. Приезжают выгуливаться после длительного служебного застолья. Или попробовать чудесных солений и варений старожилов этого края. В круглые и полукруглые литературные даты там устраивают поминки и даже парады, которыми командуют литературные генералы.

Приезжают сюда и за вдохновением, когда последнее угагло. Эти напоминают магометанских женщин, молящихся у могилы святого о прекращении бесплодия.

2

Была зима, мороз, снега, ранний вечер, черный лес, белые березы и красное солнце за холмами.

Заиндевелые лошадки тащили сани, из саней падали на снег охапки зеленого сена. Накатанные санями колеи блистали под низким солнцем, как стальные рельсы.

Меня приютили две чудесные девушки. Они отдали мне одну комнату в маленьком деревенском домике на окраине. Только промерзшая почта и продуктовый синий ларек стояли рядом с домиком.

Глубокие снега рождали вокруг глубокую тишину. За домиком падал к речке обрыв. По обрыву росли ольхи и рябины, они стучали по ночам обледенелыми ветками. А за яблоневым садом виднелся старинный барский дом и строения усадьбы.

Мои хозяйки рано утром, еще в полной темноте, поднимались на работу. Они хохотали, споласкивая свои носы ледяной водой, и топали валенками, чтобы согреться, – к утру домик совершенно промерзал. Но девушки умели смеяться любому пустяку и смехом помогали себе и другим жить. Они баловали меня, сами приносили дрова из сарая, и становилось неудобно

из-за этого. И когда морозные поленья с грохотом летели на пол возле печки, мы ругались. Я ругался, высунув из-под одеял только кончик своего носа. А они ругались и хохотали, отряхивая со своих пальтишек щепки и цепкий снег. Потом они исчезали, кинув на птичью кормушку возле крыльца крошек или крупы. И когда синий рассвет начинал пробиваться сквозь замерзшие стекла, я слышал через стенку домика стук птичьих носов по дну кормушки.

Я вылезал из-под одеял, дрожал, закуривал и топил печки. И когда с оконных стекол сползал лед, садился к столу. Все тот же лист торчал из машинки, и отчаяние захлестывало душу. Работа не шла, а тут еще надвигался очередной период безденежья.

«Мы все торопимся, – думал я. – Зачем? Правильно ли торопить время? Мы живем один раз, и надо помнить об этом. Разве успеешь понять себя, если все время торопишься? Размышления предполагают спокойствие. Надо тихо читать тихие и мудрые книги. Надо впитывать знания, быть может, тогда что-нибудь прояснится».

Я бросал машинку и брал «Жизнь в лесу» Генри Торо. И сразу он начинал меня злить. И я ловил себя на черной зависти к знаменитым людям. Предположим: «Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре» – это мудро, коротко, блистательно и вроде бы неопровержимо. Но неопровержимо только для среднего, обыкновенного человека. А сам Генри Торо мог сказать: «Стоит, черт возьми, ехать вокруг света, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре!» И опять это будет мудро, коротко, блистательно, бессмертно. Почему? Потому что это говорит известный человек. В его высказываниях так много мудрости, что она не просыплется и не прольется, даже если ее перевернуть вверх ногами. Или вот поговорка: «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь». А если сказать «За тремя зайцами погонишься – одного поймаешь» – попробуй опровергни такую пословицу, если она занесена в сборник как народная мудрость! Но если придумал ее я, то она ровным счетом никакой ценности не имеет.

За окном начинался солнечный зимний деревенский день. Чистота небес и легкость инея на ветвях елей. И многоцветье зимних лиственных перелесков.

Все цвета радуги хранит в себе зимний лес, только все они чрезвычайно нежны – и слабая зелень ольховых стволов, и прозрачная малиновость кустов, и желтизна тополей, и припудренная снегом коричневость дубов.

Летом листва буйством своих красок затмевает красоту древесных стволов. И потом стволы деревьев плохо освещены летом. А зимой снег отражает лучи света, и они снизу до самого верха высвечивают деревья. Удивительно многоцветны и нежны русские леса зимой, если к ним присмотреться.

И когда сидение за столом доводило меня до головной боли, когда пустота в душе делалась уже нестерпимой, я уходил на лыжах в лес.

Но беда в том, что моряки редко бывают чемпионами мира по слалому. Это теперь появились водяные лыжи. Когда я переживал спортивный возраст, на такие забавы не было бензина. И нормы ГТО по лыжам мы сдавали на городском кладбище, покуривая в сугробах между могил, и отсчитывали вслух время, потому что боялись прибыть на финиш раньше Джима Черная Пуля и удивить старшину-физрука. И он, и мы знали, что честно пробежать дистанцию может только Гешка по прозвищу Конспект.

Потому я и теперь плохо хожу на лыжах и падаю на могильных холмиках. А падать и бояться горок противно, даже если никто тебя не видит.

После каждого падения я ругался и понимал, что с эпопеей дело швах.

Если принять определение творчества как стремление к истине, то вдохновение, на мой взгляд, это восторг и восторженная тревога от предчувствия своей близости к истине. И вот этой близости во мне не было и в помине.

Мои чудесные хозяйки знали, что я не притворяюсь, что я в тяжких мучениях. И они жарили на ужин великолепные котлеты, и читали прекрасные стихи, и даже приносили иногда промерзшую, в курчавых от инея бутылках, водку. И мы пили эту водку вечером, и нам ста-

новилося хорошо. Электричество гасло часов в десять, мы сидели при свечах и топили печки. Домик нагревался, чудесно было. Водка принимала на себя груз моей запутанности и тоски. И я уже верил, что утром работа пойдет. Наверное, совсем не следует пить водку, если у человека не получается писание...

Я прожил на Псковщине больше месяца, когда получил письмо от капитана дальнего плавания Клименченко. Он писал: «Виктор, до меня дошли слухи, что твоя литература дала задний ход и отдала оба якоря. В этом году у нас намечается большой перегон на Север, и есть возможность устроить тебя старшим помощником капитана на одно из наших судов. На эту тему я уже говорил с нашим морагентом в Питере. Деньги платят приличные. Нужно вспомнить „Правила предупреждения столкновения судов в море“. Мои литературные дела пока тоже плохи – повесть обкорнали с двух концов. Жму твой плавник. Ю. Д.».

Я почувствовал его добрый большой плавник на своем плавнике, но не испытал оживления. «Хватит перегонов! – сказал я себе, как некогда сказал один мой герой. – Я уже стар для них. Хватит считать матросские кальсоны, и проверять свистки у спасательных жилетов, и писать бесконечные ведомости и акты. Если я пойду еще в море, то только в хороший, интересный рейс. И только на человеческом, настоящем судне, а не на речном кораблике в Арктику. Хватит Севера. Он уже стоит поперек глотки. И у меня пошаливает сердце. И давно пора для общего развития навестить какие-нибудь жаркие страны, а не остров Вайгач и остров Диксон. И потом, перегон ничем не поможет мне в писании, потому что я уже писал о перегонах, и еще двадцать человек писали, и это уже смертельно надоело всем на свете».

Но я был тронут пожатием доброго плавника.

– Лис! – сказали мне мои хозяйки. Они так называли меня за хитрую физиономию. – Киса! – сказали они, чтобы все это звучало веселее. – Брось, не уезжай! Уже скоро будет весна, и мы сделаем тебе салат из одуванчиков! Брось, Лис!

– Я суровый морской кот, а не киса, – сказал я. – И женщины не могут удержать меня возле своих юбок.

– Мы будем ходить в брюках! А ты простудишься в Ледовитом океане, и твоя мама умрет с горя. Лис! Хочешь чаю?

– Нет, не хочу.

– А пива хочешь?

Им было скучновато жить среди снежных полей и промерзших лесов уже много лет. И работа зимой у них была скучнее и тяжелее, и гостей приезжало зимой меньше.

– У, Лис... путешественник! – сказали мои хозяйки. – Весной у нас всегда можно достать парного молока. Хочешь парного молока, Лис? – издевались они надо мной.

– Что вы знаете о море? – спросил я у них.

И рассказал несколько жутких историй об авариях, штормах и гибели судов от прямого попадания метеоритов. Я рассказывал на чистокровном морском жаргоне. Ох, сколько есть на море и всякой прозы, и скуки, и бумаги, и тоски. Но почему-то забываешь об этом на берегу. И, рассказывая, я уже понял, что пойду на перегон опять. Я решил, что если начну работать естественную человеческую работу, и нести ответственность за людей, и получать за это каждый месяц деньги, то, может быть, совесть моя облегчится, я потихоньку втянусь в судовые заботы, отдохну от литературы, отойду от нее вдаль.

Мосты и реки

Темной июльской ночью мы снялись на Салехард от набережной Лейтенанта Шмидта, дали ход, включили ходовые огни и выключили стояночные. Наши якоря были готовы к немедленной отдаче, потому что впереди нас ждали мосты.

Мосты для сухопутных людей – простая, как тарелка, вещь. А для судоводителя Кировский, например, мост – чрезвычайно коварная штука. Если идти в разводной пролет, течение кидает судно в разные стороны два раза. И береговой бык этого моста обшит здоровенными, лохматыми от ударов бортов, бревнами.

Мы не пошли в разводной пролет Кировского моста; мы, нарушая правила, устремились в центральный. И хотя предварительно был убран с рубки прожектор, срублены обе мачты и шлюпбалка рабочей шлюпки, было страшно идти полным ходом в стремительно приближающуюся низкую дыру пролета. Я стоял на крыше рубки, подняв над головой руку, и пытался определить на глаз – проскальзываем мы или нет. Это было довольно бессмысленное занятие. Идти надо было только полным ходом, иначе течение могло сыграть злую шутку. И предупреждающий крик ничего не мог значить.

Я невольно присел, когда черная тень моста накрыла судно. Пальцы коснулись несколько раз шершавого металла, гулко ухнули о быки поднятые судном волны – и мост остался позади.

Было два часа ночи. Со всех сторон двигались красные, зеленые и белые огни других судов. Разводка длится меньше часа. И все стремятся обогнать друг друга.

Ленинград летел по обоим бортам. Наш СТ тупым носом давил Неву, пересиливая ее течение. И уже надвигались ажурные конструкции Охтинского моста.

Как странно ощущаешь родной город, когда идешь вверх по Неве в глухой ночи. Я первый раз шел так не пассажиром; стоял на крыше рубки, обвеваемый теплым летним ветром. И мне казалось, что этот ветер дует из прошлых веков.

Знаете состояние человека, который после обеденного компота все не может разгрызть абрикосовую косточку? Она вертится у него во рту, отвлекая внимание. А человеку надо делать серьезную работу. И вот он не может почему-то расстаться с косточкой, выплюнуть ее. Хотя и понимает, что главное сейчас – забыть о ней и заняться делом. Мне надо было помогать капитану, а в голове вертелись остатки школьных знаний по истории.

Мы проходили Большой Охтинский мост в неразводной левобережной части. Именно здесь была шведская крепость Ниеншанц. Вот здесь, где стоят теперь дежурные ночные трамваи, дожидаясь, когда мы пройдем мосты. А справа, где виден на набережной зеленый огонек такси, был шведский порт Сабина. Петр его разрушил и на его месте построил Смольной двор. Теперь здесь Смольный, а раньше хранилась смола для всего Балтийского флота.

На траверзе Александро-Невской лавры мы разошлись с буксиром, который тащил две огромные баржи.

Там, где сейчас построен новый мост, по нашему правому борту, на топком берегу, среди хилых осин и кустов ивы Александр Невский дрался со шведами шестьсот лет назад. И трупы павших приняла вот эта, городская теперь, асфальтовая земля.

– Виктор Викторович, – сказал мне капитан Володя Малышев. При исполнении служебных обязанностей мы обращались друг к другу по имени-отчеству и на «вы». – Скоро подойдем к нефтебазе.

– Есть, – сказал я и выплюнул абрикосовую косточку, то есть занялся своим прямым делом: приказал дать воду в пожарную магистраль.

На траверзе Усть-Ижоры косточка опять попала мне в рот. Я вспомнил, что здесь удалой Гаврила Олексич с таким пылом преследовал мерзавца Биргера, что заехал к шведскому витязю на корабль верхом на своем боевом коне. Тут шведы сбросили Гаврилу в Неву, но он

невредимым выплыл вместе с конем и сразу зарубил шведского воеводу Спиридона; Ладога и Новгород были спасены.

Такого количества шведов, как на берегах Невы, не было даже у Колдуэлла в рассказе «Полным-полно шведов». И подумать только, что теперь это самый миролюбивый и нейтральный народ! А сколько нервов они испортили новгородцам!

В Петрокрепости мы заночевали. Здесь я запомнил только два интересных момента. Один – когда какой-то подозрительный старик-провокактор спросил у меня:

– Почему, сынок, Петр Великий только на двести лет дома строил?

– Чего? – переспросил я.

– То, что он построил, до сих пор целехонько стоит, а что в прошлом году сгрохали, то сегодня уже облупляться начинает! – с укором сказал мне старик-провокактор и ушел.

Действительно, петровские шлюзы и доки еще прилично выглядят. Построены они из гранита. А сам городок производит впечатление заштатное.

Второй интересный момент – уничтожение девиации по речному способу. Девиация – это довольно подлый угол между магнитным меридианом и осью компасной стрелки на судне. Именно этот угол привел детей капитана Гранта в пиковое положение. У нас не было Айртонга, но угол получался слишком большим, и его следовало уменьшить и определить. На море мне много раз приходилось этим заниматься, но такой способ уничтожения, как ныне в Петрокрепости, бывшем Шлиссельбурге, древнем Орешке, шведском Нотебурге, когда-то в просторечии Шлюшине, я узнал впервые.

Мы привязали нашу самоходку двумя стальными швартовыми к палу (в просторечии – столбу), а девиатор командовал: «Выводи на тот куст! Чуть левее! Так держи!» Мы подрабатывали машинами и держали нос на куст. Девиатор делал свое дело быстро и точно, мы вертелись вокруг пала не больше получаса. После чего капитан угостил девиатора водкой, а я повесил над столом в ходовой рубке аккуратные таблицы девиации.

Ведя судно по штилевому и ласковому летнему Ладожскому озеру, я пересекал путь, по которому ехал на полуторке ранней весной сорок второго года. Полуторка шла по льду, знаменитой Дорогой Жизни. Поверх льда уже стояла вода, она плескала среди снежных высоких обочин трассы. И холодный туман витал над трассой. И немцы стреляли по нас из минометов. И все, кто был в кузове, объединили свои одеяла и накрылись с головами, чтобы не замерзнуть. А шоферская дверца была открыта, чтобы водитель успел выскочить, если машина провалится в майну.

Все это я помню неточно. И не знаю, где то, что было, и где то, что потом придумалось.

Я помню, что высунул голову из-под одеял и видел снеговые четырехугольные укрытия от ветра, в которых прятались регулировщики. Это было как во «Взятии снежного городка» Сурикова. И помню, как навстречу шли одна за другой машины, груженные мясными тушами и мешками с мукой. И как стреляли зенитки. И как ушло на дно Ладоги несколько автобусов с детишками-сиротами. Они ехали впереди нас и провалились в дыру, оставшуюся после взрыва снаряда или бомбы. И помню огромные воздушные пузыри, которые поднимались из воды на том месте, где ушли под лед автобусы. И помню женщину, стоявшую на коленях, увязшую в ледяной грязи на выезде с Ладоги на берег. Она была мертва.

А потом нам выдали по эвакуодостоверениям жирную гречневую кашу. И начался понос. И началась дорога к станции Тихорецкой, но только станцию взяли немцы, пока мы ехали к ней. И тогда эшелон завернули на Фрунзе...

Теперь мы вели свой СТ к устью реки Свири через Ладогу, ласковую, летнюю Ладогу. И береговые мысы нежно дрожали от рефракции. Чернели лодки рыбаков, и на отмелях шелестела осока. И мы несколько раз прокачали питьевую цистерну и приняли питьевой воды из-за борта, потому что нет воды чище и вкуснее, нежели ладожская. А те детишки-сироты, которые когда-то утонули здесь, давно уже стали этой водой.

На подходах к Свири я определился по трем маякам – Свирскому, Сторожно и Торпакону.

Маяк Сторожно находится на каменном мысу; где-то здесь прежде существовал Николаевский мужской монастырь, основанный еще в шестнадцатом веке преподобным Киприаном. Этот Киприан был пират. До принятия иночества он содержал на Сторожном мысу разбойничий притон, известный грабежами судов на Ладожском озере. Основатель знаменитой Ондрусовой пустыни Адриан провел с пиратом Киприаном большую морально-воспитательную работу, в результате которой пират раскаялся, стал на путь истины, принял иночество и на месте разбойничьего притона устроил мужской монастырь.

Для современного исторического романиста такой сюжет – клад.

Обогнув Сторожный мыс, мы вошли в Свирь, и тишина лесной плавной реки зазвенела в наших ушах. На девятнадцатом километре Володя Малышев решил устраиваться на ночевку. Мы отдали кормовой якорь и всунулись носом в поросший ольхой островок. Серо-зеленые кроны деревьев закачались над полубаком. И сразу из леса вышел небольшого роста человек и стал возле самой воды у нас под форштевнем. Как будто он знал, что мы завернем сюда ночевать, и ждал нас. Он стоял и молчал все время, пока мы устанавливали сходню и заводили швартов на старый пенек.

Солнце садилось, его лучи косо просвечивали прибрежный лес, зудили комары, и тихо-тихо взбулькивала возле бортов свирская волна. Мы находились в той таинственной стране, которая когда-то называлась Ингерманландия. Это название совершенно невыносимо для детских языков. А я и сейчас не могу его произнести.

Житель Ингерманландии глядел на нас с любопытством и радостью. Он был горбун, в рвани, которую носят пастухи, из распахнутого ворота грязной рубахи торчали седые волосы, а из-под мудрого лба глядели голубые детские глаза. Ему было под пятьдесят. Он сразу сел прямо на землю, когда я слез по крутой сходне с борта нашего СТ. Конечно, он давно привык к бесконечному цугу самоходок, плывущих взад-вперед по Свири, но какая из них останавливалась здесь, возле болотистого острова, вдали от деревень и пристаней? Это только мы имели возможность ночью стоять, а не плыть. Мы были моряками, плохо знали реки, и нам разрешалось не торопиться.

– Здравствуй, отец, – сказал я.

– Здравствуй, – отвечал он, сильно заикаясь.

И я, конечно, угостил его сигаретой «Яхта», и он, конечно, долго ее рассматривал, прежде чем закурить.

– Скот пасешь? – спросил я. И в погоне за литературным материалом не пожалел своих штанов, сел рядом на болотистую землю.

– Ага.

– Ты один здесь?

– П-по весне месяц один ж-жил.

– И скучно было?

Он пожал плечами и от смущения снял картуз. Его голова была в стружьях, волосы росли клоچьями.

– Это же остров, – сказал я. – Как сюда скот переправляют?

– На каюках.

– А что это такое?

– В-вам встречу за катером каюк шел.

Наконец-то я узнал, откуда пришел в наш язык «каюк» – это нечто схожее с гробом.

– Молока здесь можно купить? – спросил я. Матросы жаловались на недостаточное питание.

– Н-не знаю.

- Как не знаешь?
 - Н-не знаю... бригадира надо п-просить...
 - А где бригадир?
 - За т-той протокой! – махнул он рукой вверх по Свири.
 - Как живете-то здесь?
 - Хорошо, н-нормально... Сахара т-только нет.
- В лесу замычала корова. Пастух встал, надел картуз, сказал:
- Быков б-берегитесь... Б-бодливые у нас быки! – и ушел к себе в Ингерманландию.

Скучно ему стало от моих скучных вопросов.

Толстый старший механик, отбиваясь веткой ольхи от комаров, спустился на берег и сразу нашел дохлого лося. Дохлый лось лежал в круглой укромной ямке. Стармех тыкал в лося веткой, шкура зверя отставала – он сдох давным-давно. Стармех мучился мыслью, что падаль нельзя употребить на мясо.

На другом берегу Свири дымил костерчик. Кто-то там варил уху.

По исчаванной коровьими копытами болотистой земле прыгали крохотные лягушонки.

И такая тишина, такая заброшенность, такой речной покой были вокруг, что, казалось, напряги слух – и услышишь, как молчат в лесах развалины монастырей и почивают в потайных пещерах святые мощи.

Дизель-динамо для экономии было вырублено. В каюте коптила керосиновая лампа. И запах горелого керосина еще больше обострял ощущение прошлой жизни этой тихой земли.

Странно, что именно здесь, на Свири, в Лодейном Поле, был построен шлюп «Мирный» – корабль самого дальнего русского плавания. С борта «Мирного» Михаил Лазарев увидел берега Антарктиды, натянув тем самым нос Куку.

Строил шлюп корабельный мастер Колодкин. Длиной шлюп был в два раза короче нашей самоходки. Лазарев обошел на нем вокруг света в компании и под началом Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена. Их не испугали мрачные слова Кука: «Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках Южного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы...»

Пятнадцатого января 1820 года шлюп, построенный на берегах тихой Свири, вышел к берегам Антарктиды. И Беллинсгаузен назвал один из открытых им островов именем Кука.

Крузенштерн мог гордиться своим учеником.

На месте Лазарева я бы назвал какой-нибудь островок и по имени корабельного мастера Колодкина.

«Почти для каждого человека корабль больше, чем какое-либо другое созданное им оружие, – это некое выражение далекого образа. Корабль – это воплощение мечты, и мечта эта настолько захватывает человека, что ни одну вещь на свете он не создает с такой чистотой помыслов... От чувств, которые он вкладывает в свой труд, зависит крепость шпангоутов, прочность киля и правильность выбора и крепления обшивки. В построение корабля человек вкладывает лучшее, что в нем есть, – множество бессознательных воспоминаний о труде своих предков... Корабль – вещь, не имеющая себе подобия в природе, кроме разве сухого листка, упавшего в поток». Эти слова написал Стейнбек.

В Вознесенье мы получили приказ идти не на Повенец, а на Петрозаводск. Бывает плохо, когда начальство доверяет чересчур. Начальство доверяло Володе Малышеву. И он этого вполне заслуживал, потому что был из лучших капитанов, хотя и самым молодым.

Именно из-за этого нам и приказали идти на Петрозаводск и принимать там груз.

Груз оказался железом – частями старых речных колесных пароходов.

Остовы колесников, с обрезанными колесами, с заваренными наглухо иллюминаторами и дверями рубок, с заведенными брагами, покачивались в Петрозаводском порту, ожидая бук-

сиров. Им также предстояло плавание через северные моря в сибирские реки. А колеса, валы, части кожухов должны были следовать в наших трюмах. Начались погрузка и раскрепление громоздких, многотонных махин – сложная и грязная работа. Мы занимались ею девять дней.

До сих пор не знаю, была мудрость в том, чтобы везти ржавое железо за тридевять морей, или нет. Неужели в Омске нельзя сделать кожух для колеса колесного парохода? Но нас не спрашивали. Нам нужно было так разместить груз и так его раскрепить, чтобы не потонуть где-нибудь в Баренцевом или Карском море.

Дорога от Петрозаводска была мне уже знакома – еще в пятьдесят пятом я проделал ее на маленьком рыболовном сейнере.

Беломорско-Балтийский канал – одно из самых тоскливых мест на земле.

Архангельские встречи

В Двине предстояло ждать, пока с Дуная подойдут остальные суда перегонного каравана. Стоянка была бездеятельная, монотонная. Я коротал время, читая старинную книгу «Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов Русского флота» и пытаюсь скомпилировать рассказ из выражений и фраз старорусской морской речи.

Кажется, за всю стоянку я только единожды без служебной надобности съездил на берег. На берегу купил бутылку вина, с десятков газет и журналов и расположился впитывать новейшую информацию в сквере недалеко от улицы Павлина Виноградова.

В сквере ремонтировали дорожки, и скамейки были сложены в кучу. Оставалась одна – в запущенном, глухом уголке.

Листва кленов уже желтела, а тополя и липы были зеленые, но тусклые от городской пыли. Кусты шиповника окружали скамейку. В кустах стояла похожая на скворечник сторожка. К ее стене прислонились лопаты и ломы. С улицы приглушенно доносились лязг трамваев и гудки машин. Никого в сквере не было, и я спокойно попивал винцо и читал газеты, сидя на единственной скамейке, а по дорожке прыгали воробьи.

Впереди ожидал меня еще целый свободный вечер, поход в ресторанчик с друзьями, посещение почтамта, какие-нибудь, как всегда надеешься, хорошие письма. Потом мы должны были отправляться в Арктику.

Газетная бумага то светлела, то бледнела, потому что по небу все бежали частые облака, очень белые сверху, но темные, дождевые снизу. Скоро по листьям ударили первые капли. И я залез в сторожку. Там пахло сухим деревом и было приятно читать под шум дождя, еще не холодного, еще летнего дождя. Я и не заметил, как дождь прошел, когда услышал мужской голос:

– Он укусил астру! Вы видите: он кусает красную астру! Берегитесь его, бродяги!

На моей скамейке сидел мужчина средних лет и разговаривал с воробьями. Я хорошо видел его в маленькое окошечко сторожки.

– Большущий кот! – сказал мужчина воробьям. – Он кусает астры только так, для вида, а сам подбирается к вам!

Стайка воробьев, не обращая внимания на предостережение, прыгала по мокрой дорожке сквера. Самые беспечные плескались в большой луже у куста чернотала.

Белый с рыжими пятнами кот метнулся на дорожку сквозь желтые листья куста.

Шурхнув крыльями, разметались кто куда воробьи и сразу принялись звонкими голосами ругать кота.

Кот попал в лужу и досадливо сморщился.

– Они провели тебя вокруг пальца, – сказал мужчина коту и покрутил на указательном пальце крышку спичечного коробка. – Они натянули тебе, сорванцу, нос...

Кот дрыгнул лапой и, вихляя узким задом, скользнул обратно в высокую мокрую траву газона.

Мужчина заглянул в нагрудный карман своего пиджака и вытащил из него папиросу. Очевидно, это была последняя папироса. Мужчина вывернул карман, вытряхнул из него табачные крошки и трамвайные билеты. Потом закурил.

Мне тоже хотелось курить, но я почему-то боялся обнаружить себя. Мне казалось, что это будет неприятно ему. Я видел его худощавое лицо, волосы, налипшие на лоб. Складка на брюках совсем пропала от влаги, парусиновые туфли были в песке.

Я люблю отгадывать профессию человека по его виду, но здесь мне все никак не удавалось подобрать дело, которым он занимался в жизни. У него были широкие плечи и большие руки.

Листва от дождя зазеленела весело. Облачка просветлели и торопились куда-то к морю. По одному робко упали на дорожку давешние воробьи. Но еще качались покинутые ими веточки, когда заскрипел под чьими-то ногами мокрый гравий, и вся компания опять вспорхнула.

Шла женщина.

Когда она поравнялась со скамейкой, мужчина сказал:

– Там дальше тупик. Дальше некуда идти.

Но женщина сделала еще несколько шагов, выискивая что-то взглядом. Ей было лет двадцать пять. Обыкновенная молодая женщина в легком плаще.

– Садитесь. – Мужчина показал ей место рядом с собой. – Эта скамейка последняя осталась.

Женщина поколебалась.

– Я не ем человек, – сказал мужчина. – А если очень мешаю вам, то уйду.

Женщина села. Она ничего была в профиль, лучше, чем в фас.

– Нет, вы мне не мешаете, – сказала она, достала из сумки книгу и положила ее на колени.

– Этот белый сорванец опять спрятался за куст, – сказал мужчина и кивнул на белого кота. Он сказал это так, как будто был давно знаком с этой женщиной, а она знала все, что давеча произошло с воробьями и котом на этой дорожке.

Женщина удивилась, быстро глянула на соседа, сразу же отвернулась и натянула на кисти рукава жакета. Ей было, наверное, прохладно.

Мужчина стал скручивать папироску, но неудачно – кончик отвалился, за ним просыпался и весь табак.

– Ничего не поделаешь, – вздохнул мужчина и дунул в папиросный мундштук. – Черт! – добавил он после паузы. – Когда-то в детстве я умел делать из таких пустых гильз свистульки. Все забывается. С годами.

Женщина отодвинулась на край скамейки и раскрыла книгу. Мужчина замолчал и долго смотрел, как вываливаются из-за вершин деревьев легкие облачка. Женщина несколько раз неприметно отрывалась от книги и рассматривала соседа.

– Если залезть в траву, вот как этот кот, то оттуда все будет казаться совсем зеленым, правда? – вдруг спросил мужчина. Он по-прежнему разговаривал с незнакомкой так, будто давным-давно знал ее.

Женщина пожала плечами и хотела отодвинуться еще дальше, но было уже некуда.

Мужчина заметил это и смущенно махнул рукой.

– Честное слово, я не хотел вам... помешать, что ли... Просто так славно все здесь после дождя...

Женщина перевернула страницу.

Ветер качнул вершины кленов. Они зашелестели. Ветер спустился ниже, зарябил по лужам, и сразу громче раскричались в сквере воробьи.

Мужчина смотрел на свою соседку и водил по губам пустой папиросной гильзой.

Она обернулась.

– У вас пуговица едва держится на обшлагае, – тихо сказал он. – На правом... Вы можете ее потерять.

Женщина решительно выпрямилась и захлопнула книгу.

– Какое вам дело до моей пуговицы, гражданин? – спросила она.

Есть люди, которым не везет с рождения во всем и до самой смерти.

Идет такой человек поздней ночью пешком через весь город, потому что на одну секунду опоздал к последнему автобусу. Именно на одну секунду. А опоздал, потому что забыл в гостях спички и было вернулся за ними, но посовестился опять тревожить, а тем временем автобус...

Денег на такси у таких людей никогда не бывает, но ленивые наши, высокомерные ночные таксисты обязательно сами притормаживают возле безденежного неудачника и спрашивают: «Корешок, тебе не на Охту?» А ему именно на Охту, но он отвечает: «Нет, на Петроградскую». – «Ну ладно, – говорит шофер. – Садись, подвезу». – «Спасибо, я прогуляться хочу», – бормочет неудачник. «В такой дождь? Да ты в уме?!.»

И вот бредет неудачник совсем один по ночным улицам под дождем и все хочет понять, в чем корень его невезучести, и все сильнее хочет курить, но спичек-то у него нет. И вот он ждет встречного прохожего, чтобы спросить огонька. Наконец встречный появляется. Издали виден огонек сигареты. Неудачник достает папиросу, раскручивает ее и уже предвкушает дымок в глотке. И вдруг видит, как прохожий отшвыривает сигарету прямо в лужу. «Ничего, – думает неудачник. – У него спички есть». Но в том-то и дело, что спичек у прохожего не оказывается. Вообще-то он достает коробок, долго вытаскивает спичку за спичкой, но все, до самой последней, они оказываются обгорелыми. А дождь идет все сильнее. И кончается тем, что прохожий вдруг орет: «Черт! Промок из-за тебя, как... как... На коробок и иди...» И неудачник машинально берет пустой коробок и идет к...

Если вы думаете, что настоящие неудачники бывают только на суше в виде пожилых бухгалтеров, или рассеянных студентов гуманитарных вузов, или одиноких врачей по детским болезням с толстыми очками на добрых глазах, то вы ошибаетесь. Расскажу вам о неудачнике – моряке Мише Кобылкине.

Кличка у Миши, когда мы с ним учились в военно-морском училище, была, естественно, лошадиная – Альфонс Кобылкин. Был он длинный и костлявый, как Холстомер в старости.

На примере Альфонса вы увидите, что невезение подстерегает людей не только на дороге к их личному, собственному счастью и успеху. Нет, Альфонсу не везло как раз на стезе его стремления принести пользу обществу, пострадать даже за общество, попасть, так сказать, на крест во имя спасения других. Именно путь на Голгофу ему никак не удавалось свершить. Каждый бросок Альфонса на помощь человечеству заканчивался конфузом.

Отец Альфонса в войну был генералом. Только поэтому Альфонсу удалось в возрасте неполных шестнадцати лет попасть в полковую школу, откуда вскорости открывался путь на фронт. А именно туда Альфонс стремился. Он мечтал задать фашистам перцу собственноручно.

Но на первом же занятии в поле, когда новобранцы учились швырять учебные гранаты, такой учебной деревяшкой с железным набалдашником Альфонсу врезали по затылку. Очевидно, паренек, который метнул гранату в Альфонса, был не хилого сложения, потому что Альфонс выписался из госпиталя только через год.

Он получил нашивку за ранение, приобрел повадки бывалого солдата и отправился на фронт, хотя с чистой совестью уже мог возвращаться домой. Путь на Голгофу пролегал через Бузулук, где Альфонс опять угодил в госпиталь – с брюшным тифом. Характер у него начинал портиться, потому что война шла к концу. Именно этого не учел медицинский майор – председатель комиссии в госпитале.

Дело в том, что Альфонсу совершенно не доставляло удовольствия рассказывать обстоятельства своего ранения элементарной учебной болванкой. А майор оказался мужчиной с юмором и потому стал сомневаться в том, что после такого ранения возможно проволынить в госпиталях целый год. Здесь майор еще добавил, что все объясняется проще, если отец у Альфонса – генерал. Альфонс поклялся майору в том, что докажет ему на опыте истину, и спросил, что тяжелее – учебная граната или графин? Майор сказал, что от графина пахнет штрафбатом. Но это только воодушевило Альфонса.

Он взял графин, метнул его по всем правилам ближнего боя в лысину медицинского майора и угодил в штрафбат. И был искренне рад, потому что не сомневался в том, что болтаться

в тылу ему теперь осталось чрезвычайно недолго. Но не тут-то было! На второй день штраф-батной жизни какой то уголовник ради интереса спихнул Альфонса с трехъярусных нар.

День Победы он встретил с ногой, задранной к потолку, в гипсе, исписанном разными нецензурными словами, с привязанной к пятке гирей.

А где-то в сорок шестом он появился у нас в училище с медалью «За победу над Германией» на груди и потряс всех своим умением засыпать совершенно беспробудно. Вероятно, длительное пребывание в госпиталях выработало у него такую привычку. В госпиталях он еще здорово научился врать. Все фронтовые истории, которые он там слышал, слушали теперь мы. Но надо сказать, что стремление Альфонса взвалить на себя крест и помочь прогрессивному человечеству не угаало. И надо еще здесь сказать, что от настоящего, стопроцентного неудачника расходятся в эфире какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают сказываться на судьбе окружающих.

Наш Альфонс был стопроцентным.

На первых же шлюпочных учениях шлюпка, в которой был он, перевернулась, и все наше отделение оказалось в Фонтанке. Скоро флюиды охватили взвод: все училище поехало в Москву на парад, а наш взвод оставили перебирать картофель в овощехранилище. Потом флюиды опутали роту. Маршируя на обед, мы все – вся рота – дружно упали со второго этажа на первый. Дело в том, что училище размещалось в старинном здании бывшего приюта принца Ольденбургского. За время блокады в здание попало около двадцати бомб и снарядов. И когда мы «дали ножку», торопясь на кормежку, перекрытие не выдержало и рота оказалась в столовой, не спускаясь по лестнице. Разумеется, последним выписался из госпиталя наш Альфонс.

Он уже ничему не удивлялся. Он все время уверял нас в том, что готов страдать в одиночку. И он на самом деле был готов к этому, но только у него это не получалось.

Никогда не забуду его конфликта с Рыбой Анисимовым. Анисимов, огромного роста детина, матрос с гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий», глубоко презирающий всех нас – салажню и креветок, как он любил выражаться, в клешах метровой парусности, с ленточками ниже пояса, всегда сам делил за обедом кашу. Бачок полагался на шесть человек. Половину бачка Рыба вываливал себе, остальное получали мы. И молчали в тряпочку, хотя было обидно.

И вот Альфонс решил в очередной раз взойти на Голгофу за интересы общества.

– Рыба, – сказал Альфонс. – Сегодня делить кашу буду я. Дай половник.

Рыба чрезвычайно удивился. Большим количеством извилин он не обладал, поэтому думал целую минуту, пока не спросил с угрозой:

– Альфонс, тебе кашки не хватает, что ли?

– И не только мне, Рыба, – сказал Альфонс.

– Кушай, – сказал Рыба и надел бачок с пшенной кашей на голову Альфонса. Альфонс сел. Рыба еще постучал по дну кастрюли половником, и снять кастрюлю с головы Альфонса сразу не удалось, она налезла, как говорят артиллеристы, «с натягом». Дело закончилось медпунктом. А мы, мы... опять пострадали вместе с Альфонсом. Ибо решили отомстить за него и устроили Рыбе «темную». Но Рыба был крепкий мужик, и всем нам досталось больше, чем ему одному, не говоря о том, что на шум прибежал дежурный офицер и мы еще схватили по пять нарядов вне очереди.

Короче говоря, когда мы закончили училище, получили лейтенантские звездочки, по кортику, по байковому одеялу, по две простыни, когда мы перепились на выпускном вечере, поплакали на груди у самых нелюбимых наших начальников, сообщили им сквозь рыдания, что никогда, никогда не забудем светлых лет, проведенных под их мудрым и чутким руководством, и когда наконец поезда загудели, развозя нас к далеким морям, мы вздохнули с облегчением, потому что в ближайшем будущем не должны были встретиться с Альфонсом.

Мы встретились через несколько лет, в годовщину окончания училища, в Ленинграде возле «Восточного» ресторана.

Мы – это старший лейтенант Николай Боков (по училищной кличке Бок), старший лейтенант Владимир Слонов (по кличке Хобот), капитан-лейтенант Анатолий Алов (по кличке Пашка), я (по кличке Рыжий) и младший лейтенант Альфонс Кобылкин.

Как вы заметили, десятилетие изменило количество звезд на погонах нашего невезучего друга в сторону уменьшения.

Все мы несколько огузали, задубели, но от радости встречи оживились, решили пошалить, встряхнуться. Заказав по сто граммов, повели обычный разговор однокашников. Посыпались номера войсковых частей, названия кораблей, фамилии командиров, рассказы о походах, авариях, сетования на то, что флот теперь не тот, порядки не те, традиции не те, офицеры не те, матросы не те, море не то и даже дельфины куда-то пропали. Одному дрянному шпиону достаточно было посидеть за соседним столиком десять минут, чтобы завалить Пентагон материалом до самой крыши.

Только Альфонс молчал. Наверное, ему было как-то неудобно сидеть и пить со старшими по званию. А когда человек молчит, не рассказывает о том, как провел свой корабль через Центральную Африку, то такого человека и не замечаешь. И мы как-то позабыли Альфонса. Не хотелось нам расстраиваться, выслушивая рассказ о его очередных неприятностях. Но в конце концов совесть заговорила в нас, мы сосредоточились на двух одиноких звездочках Альфонса, и Хобот спросил:

– Чего не ешь, лошадь? Надо закусывать.

– Пейте, ребята, не обращайтесь внимания, – сказал Альфонс бодрим голосом. – А я скоро уйду. Если вы проведете со мной еще полчаса, то или попадете на гауптвахту, или здесь обвалится потолок.

– Не говори глупостей, – сказал Пашка и подозвал официанта. – Еще пятьсот капель, папаша!

– Валяй нам все, как на исповеди, младший лейтенант Кобылкин! – сказал я.

– Да чепуха... Так, знаете... Короче, таракан. Обыкновенный таракан. С усиками, рыжий... Пейте, ребята, не обращайтесь внимания.

Но мы оставили рюмки.

– Я уже старлеем был и... вот... Стреляли по береговым целям главным калибром... Сам сидел за башенным автоматом стрельбы... дал залп по сигналу... накрыл близким перелетом своего флагмана... Понизили в звании... теперь на берегу служу, – скупно, но точно доложил Альфонс.

– Прямое попадание в своего флагмана? Это же надо уметь! – сказал я.

– Недаром же Альфонс учился четыре года вместе с нами, – сказал Хобот.

Мы старались чуткими шутками смягчить тяжелые воспоминания Альфонса.

– В сигнальное устройство горизонтальной наводки попал таракан, замкнул контакты, и сигнальная лампочка загорелась, когда орудия смотрели не на цель, а на флагмана. Вот и все, ребята. Как таракан заполз в plombированный блок сигнализации, не знает никто, но кто-то должен отвечать... вот и... Я-то, как вы знаете, ничему не удивляюсь, а флагман удивился, – объяснил Альфонс.

– Обычное дело, – сказал Пашка. – Все флагманы почему-то удивляются, когда по ним всаживают из главного калибра свои собственные эскадренные миноносцы. Выпьем, ребята.

– Ударим в бумеранг! – сказал Бок. И все мы улыбнулись, вспомнив училищные времена. Именно это выражение означало когда-то для нас выпивку.

– Сейчас я уйду, – сказал Альфонс. – А то у вас будут какие-нибудь неприятности.

– Перестань говорить глупости, – сказали мы в один голос.

Единственным способом задержать его было попросить о чем-нибудь – подняться опять же на Голгофу за нас.

Через столик сидела прекрасная женщина со старым и толстым генерал-майором медицинской службы. Всегда, когда видишь молодую женщину с пожилым толстым мужчиной, становится обидно. И сразу замечаешь, как некрасиво он ест, как коротки его пальцы и как жадно он смотрит на денежную мелочь, хотя ест он нормально, пальцы у него не короче ваших, а смотрит он, естественно, не на мелочь.

От женщины, сидевшей с генералом, пахло духами и туманами. Уверен, что в сумочке ее лежал томик Блока и на ночь она перечитывала стихи о Прекрасной Даме.

– Альфонс, – тихо и несколько скорбно сказал Пашка, – сейчас ты встанешь, подойдешь к их столику, скажешь этой старой клистирной трубке что-нибудь любопытное и уведешь женщину к нам.

– Да, – согласился Бок. – Тебе, Альфонс, терять нечего. А дама – прекрасное существо.

– Девочка – прелесть, – чмокнул губами Хобот.

Вы заметили, как перепутались в наш век женские наименования? Пятидесятилетнюю продавщицу в мясной лавке все называют «девушка», хотя у нее пятеро детей. А однажды я сам слышал, как пожилые дорожные работницы, собираясь на обед, говорили: «Пошли, девочки!» «Дамочкой» у нас принято называть этакое накрашенное, легкомысленное существо в шляпке с пером. Но опять же, я сам слышал, как кондуктор, выпроваживая из трамвая крестьянок с мешками картошки, орал: «Следуйте пешком, дамочки, потому что у вас груз – пачкуля!» Мне самому сейчас уже вполне порядочно, но каждый дворник или швейцар, запрещая что-нибудь, обязательно говорит: «Топай, топай, парень!» И даже фетровая шляпа не помогает.

– Я могу попробовать, если это вам нужно, друзья, – сказал Альфонс. – Только очень уж я не умею с женщинами. Вам ее телефон узнать?

Вы оцените самоотверженность этого человека, если узнаете, что еще ни одна женщина не спрашивала у него, любит ли он ее, и если любит, то насколько, и как и каким именно образом, и любил ли он кого-нибудь до нее так, как ее. Ни одна женщина еще не отбирала у него полочки и не гнала в баню четыре раза в месяц.

Ведь женщинам нужна в мужчине уверенность в себе, я бы даже сказал, нахальство. А откуда у хронического неудачника может быть уверенность в себе? Наоборот. Совершенно никакой уверенности у него нет.

Прибавьте ко всему этому еще волевою физиономию медицинского генерал-майора и одинокие малюсенькие звездочки на плечах Альфонса. И тогда вы поймете, какой самоотверженностью обладал наш друг.

– Брось, – сказал я. – Еще рано заваривать такую кашу...

Я, правда, знал, что если у человека всю жизнь идет от мелких неудач ко все более крупным, серьезным неудачам, то единственное здесь – перешибить судьбу чем-нибудь этаким отчаянным, грандиозным по нелепости поступком. Но дело в том, что здесь могут быть два исхода: один – судьба действительно переломится, второй – судьба с огромной силой добавит неудачнику по заправке.

– Подожди немножко, старая лошадь, – сказал я. – Но не уходи совсем от нас. Ты нам сегодня еще можешь здорово понадобиться.

– Как знаете, ребята, я для вас на все готов, – сказал Альфонс.

Таким образом, мы удержали его с нами и повели беседу дальше. Теперь, конечно, тема изменилась. Мы заговорили о женщинах, то и дело испытывали взглядами соседку. Соседка мило тупилась и с большой женственностью пригубливала сухое вино. С генералом ей было явно скучно. И это воодушевляло нас.

Думали когда-нибудь о том, что такое женственность?

Женственность – это качество, которое находится не внутри женщины, а как бы опущает, окружает ее и находится, таким образом, только в вашем восприятии.

Вот на эту тему мы разговаривали, когда генерал стал шарить по карманам, а его дама искать в сумочке зеркальце.

– Ребята, – сказал Альфонс. – Я чувствую, что вам очень хочется получить ее телефон. И я готов попробовать.

Мы не успели его удержать.

Альфонс, заплетаясь ногами и сутулясь, двинулся к соседнему столику.

Не знаю, как рассказать вам, что произошло, когда его длинная фигура попала в поле зрения медицинского генерала. Генерал подскочил вместе со стулом. Потом, когда стул еще висел в воздухе, генерал стал лиловым. Говорить он, судя по всему, ничего не мог. На Альфонса тоже напал столбняк. Они пялили глаза друг на друга и что-то пытались мычать.

– Папа! Папа! – воскликнула девушка.

Альфонс, пятась задом, вернулся к нам.

– Это он! Это уже за пределами реальности! Это ему я запузырил графином по лысине в сорок четвертом!

Мы капнули Альфонсу коньяку, а девушка, от которой пахло туманами, тем же способом успокаивала своего папу.

– Пора сниматься с якорей, – сказал Хобот. – Возможны пять суток простого ареста.

– Чепуха, – сказал я. – Надо довести дело до конца. Надо, чтобы Альфонс сегодня перешиб судьбу! Пусть он совершит что-нибудь совсем отчаянное! Это единственный путь!

– Альфонс, хочешь попробовать? – спросил Пашка. Он был не трезвее меня.

– Да! – мрачно согласился Альфонс.

Он впал в то состояние, когда неудачник начинает получать мазохистское удовольствие от валящихся на него несчастий. В таком состоянии человек становится под сосулькой на весенней улице, задирает голову, снимает и шепчет: «Ну, падай! Ну?! Ну, падай, падай!..» И когда сосулька наконец втыкается ему в темя, то он шепчет: «Так! Очень хорошо!»

– Иди и пригласи ее танцевать! – сказал Бок. Учитывая то, что оркестра в ресторане не было, он подал действительно полезный и тонкий совет.

И Альфонс встал. Сосулька должна была воткнуться в его темя, и никакие силы антигравитации не могли его защитить.

Он пошел к генералу.

Скажу честно, я так разволновался всего второй раз в жизни. Первый – когда в Беломорске у меня снимали часы, а я, чтобы не упасть в своих глазах, не хотел отдавать их вместе с ремешком. Не знаю, успел ли Альфонс пригласить девушку на танец или нет, но только генерал с молодым проворством шмыгнул к двери и был таков. Альфонс же уселся на его место, налил себе из его графинчика и положил руку на плечо девушки, от которой пахло туманами.

Мы все решили, что наконец судьба нашего друга перешиблена и все теперь пойдет у него хорошо и гладко до самой смерти. Но мы ошиблись.

– Прошу расплатиться и всем следовать за мной, – предложил нам начальник офицерского патруля. За плечом начальника был генерал.

Мы не стали спорить. Спорить с милицией или патрулем могут только салаги. Настоящий моряк всегда сразу говорит, что он виноват, но больше не будет. Причем совершенно неважно, знает он, что именно он больше не будет, или не знает.

Мы сказали начальнику офицерского патруля, что сейчас выйдем, и без особой торопливости допили и доели все на столе до последней капли и косточки. Мы понимали, что никто не подаст нам шашлык по-карски в ближайшие пять суток. Потом снялись с якорей. Предстояло маленькое, сугубо каботажное плавание от «Восточного» ресторана до гарнизонной гауптвахты – там рукой подать.

Я хорошо знаю это старинное здание. Там когда-то сидел генералиссимус князь Италийский граф Суворов-Рымникский, потом Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов, потом в тысяча девятьсот пятидесятом году я, когда умудрился выронить на ходу из поезда свою винтовку...

И вот мы с Альфонсом встретились в Архангельске, когда я ожидал рейсового катера на пристани Краснофлотского рейда. Вместе со мной встречала рейсовый одна веселенькая старушка. Старушка курила папиросы «Байкал» и с удовольствием рассказывала:

– Тонут, тонут, все тонут... Лето жаркое было, купались и тонули. Соседушка наш на прошлой неделе утонул. Всего пятнадцать минут под водой и пробыл, а не откачали. А позавчера сыночек Маруськи Шестопаловой, семь годочков всего, в воду полез, испугался и... так и не нашли до сей поры. Речкой его, верно, в море уволокло. Или, мобыть, землечерпалка там близко работала, так его ковшиком в баржу-грязнуху и перевалило... А третьего дня в Соломбале...

– Бабуся, остановись, – попросил я.

До катера оставалось еще минут пять, и я опасался, что одним утопленником за это время станет больше, что я тихонечко спихну эту веселенькую старушку с пристани.

– Не нравится? Бога бояться надо! – злобно сказала старушка. И на этом умолкла.

Когда катер швартовался, я увидел на нем знакомую сутулую фигуру. Это был Альфонс.

Я всегда смеялся над ним, но я всегда любил его. И он всегда знал, что я люблю его. Люди точно знают и чувствуют того, кто любит их. И Альфонс тоже, конечно, знал. Но сейчас он не заметил меня, спускаясь с катера по трапу. Он сразу подошел к веселой старушке и сказал ей:

– Мармелад дольками я не нашел, я вам, мамаша, обыкновенный мармелад купил.

– Так я и знала! – со злым торжеством сказала старуха.

– Альфонс! – позвал я.

Он обернулся, мы обнялись и поцеловались. Он здорово постарел за эти годы. Я тоже не помолодел.

И мы куда-то пошли с ним от пристани.

– Ты где? – конечно, спросил он.

– На перегоне, – сказал я. – На Салехард самоходку веду.

– У Наянова? У перегонщиков?

– Да. А ты где?

– Здесь, в портфлоте на буксире плаваю. Меня, как сокращение вооруженных сил началось, так первого и турнули.

– Слушай, – сказал я. – Ведь у тебя отец генерал большой. Неужели ты...

– Батяка уже маршал, – сказал Альфонс. – Только он с мамой разошелся, и я с ним после того совершенно прервал отношения. Я, знаешь, Рыжий, женился недавно. Старушка эта – моя теща, жены моей мама.

– А кто жена-то? – спросил я.

– Вдова она была, – объяснил Альфонс. – Она, правда, постарше меня, и детишек у нее трое, но очень добрая женщина. Ее муж в море потонул, на гидрографическом судне он плавал... А помнишь, как мы тогда на «губу» попали? Из-за медицинского майора?

– Еще бы! – сказал я. – Только не из-за майора, а генерал-майора. И теща с вами живет?

– Ну а кто же за ней смотреть будет? – удивился Альфонс. – Конечно, иногда трудно, но...

И я подумал о том, что Альфонс умудрился взойти на Голгофу.

Дай все-таки Господь, чтобы такие неудачники жили на этой планете всегда, иначе вдовам с детишками придется совсем туго.

Поплыли

1

Девятнадцатого августа 1964 года в 08 часов 10 минут я записал в судовой журнал: «Получено разрешение капитана-наставника Ю.Д.Клименченко следовать на городской рейд для получения продуктов». Я сам просил его дать это разрешение. Но на борту не было капитана, и в последний момент я сдрейфил плыть в город. Я знал, что там надо будет соваться носом в грунт, а я не люблю делать такой маневр, не привык к нему.

И в то же время я знал, что через несколько часов нас должны отправить в рейс. Начальство уже приняло такое решение. Архангельск по всяким разным причинам больше не мог терпеть наш караван.

Но корешки для супа, масло и совершенно необходимая для Зои Степановны сметана еще не были получены. И Зоя Степановна, сдвинув очки на лоб и тиская руками фартук, говорила мне, что без сметаны в море не пойдет, пускай ее уволят, пускай ей в глаза соленой водой набрызгают, но она знает, что потом с нее же спросят, и т.д., и т.п.

Под напором Зои Степановны я приказал готовить машины и хотел сниматься с якоря, когда из утлой местной душегубки-лодки высадился на борт Володя Малышев.

Он сунул рубль архангельским мальчикам, которые привезли его с берега, и выслушал мой доклад: "Необходима сметана, караван выпихивают в Мурманский рукав, съемка ранним утром, есть «добро» самим идти на городской рейд. Что прикажете? "

– Снимайся, – спокойно сказал Володя. – А я штаны переодену.

Мы засунули нос в грунт почти в самом центре Архангельска.

– Чифа с берега спрашивают, – услышал я голос вахтенного.

Учитывая то, что «чиф» – это старший помощник, пришлось насторожить уши.

– Кто? – спросил я в иллюминатор.

– Женщина. С чемоданчиком, – доложил вахтенный. Он был несколько навеселе. Но я сделал вид, что не замечаю этого. Смешно сердиться на матросов, когда до выхода в море остается несколько часов, а мы стоим носом в самую середину большого города Архангельска.

Я вышел на палубу и осторожно выглянул через фальшборт. Женщина с чемоданчиком, пришедшая неожиданно, пугает мужчину. А я не самый смелый из них.

Действительно, под нашим форштевнем на куче гравия ожидала довольно миловидная женщина с кожаным чемоданом. Узкая доска, которую мы прихватили еще на судоремонтном заводе в Ленинграде и которая отлично служила экипажу для схода и возвращения на борт, когда мы втыкали нос в берег, стояла сейчас почти отвесно. Ни одна женщина на свете, кроме нашей Зои Степановны, не решилась бы лезть по такой сходне. Поэтому я почувствовал себя в безопасности и сказал:

– Я старший помощник.

– Капецкий? – обрадовалась женщина.

– Да, – сказал я. Только корреспонденты самых массовых органов информации умеют так перевернуть фамилии.

– Мне необходимо взять у вас интервью. Я радио.

Приятно поболтать с миловидной женщиной накануне ухода в море. Ей-богу, солгут те, кто скажет, что им безразлично такое развлечение. Так странно и приятно, когда в каюту входит женщина. А ты совершенно не готов к ее посещению. У тебя на грелке сушатся трусики, койка не прибрана. Под столом нагло зияет наклейкой бутылка. А в банке стоят засохшие поле-

вые цветочки, которые ты собрал где-то на берегах Свири и по лености так и не удосужился выкинуть за борт.

Я провел женщину через соседний буксир – там более прилично стояла сходня.

– Товарищ Капецкий, – сказала она, – я читала все, что вы написали. Мы интересуемся тем рейсом, в который вы сейчас отправляетесь. Это прекрасно, что вы не теряете связь с жизнью. Мы будем воспитывать на вашем примере наших слушателей.

– Хотите выпить? – спросил я у нее.

– Вы так шутите?.. Я на работе.

Морякам было интересно узнать, кто моя гостья и чем мы с ней занимаемся. Матросы один за другим совали носы в каюту и задавали идиотские вопросы.

Она открыла кожаный чемодан и обнажила великолепный магнитофон. Конечно, у нее что-то не завелось и не получилось. Я позвал механика. Минут через пятнадцать бобины завертелись.

– Мы уходим в суровые просторы, – сказал я в микрофон. – Впереди нас ждут испытания, но мы готовы к ним. Мы выполним задание нашей Родины. Нас идет тридцать два судна в караване. Поведет ледокол номер пять. Он приписан к Ленинградскому порту. Потом я надеюсь написать очерк о нашем плавании. Я подниму в очерке вопросы, связанные с вопросами оплаты труда моряков-перегонщиков. Система оплаты слишком сложна, чтобы рядовой моряк мог в ней разобраться. Благодарю за внимание.

Она покрутила свою машину в обратную сторону, и я имел удовольствие выслушать собственную речь. Мой голос после длительной стоянки в Архангельске был почему-то хриплым.

– Счастливого плавания, товарищ Капецкий, – сказала она в микрофон. – Товарищи, вы слышите, как шумит волна у бортов кораблей? Это корабли уходят в море. – Здесь она высунула микрофон в иллюминатор. Там действительно плюхала вода.

На этом эпизоде наша связь с цивилизацией прекратилась.

В 05.00 20 августа мы снялись с якорей и вышли на Салехард из Мурманского рукава реки Северная Двина, имея на борту десять человек экипажа, 24 тонны топлива, 700 килограммов машинного масла и две с половиной тонны пресной воды. Если говорить честно, пресной воды у нас было больше. Исходя из опыта, мы зацементировали фекальную цистерну и приняли пресной воды в нее. По своему прямому назначению цистерна еще ни разу не применялась, и вода из нее вполне годилась для мытья посуды и физиономий.

Мы все когда-то вылезли на свет божий из соленой купели, ибо жизнь началась в море. И теперь мы не можем жить без нее. Только теперь мы отдельно едим соль и отдельно пьем пресную воду.

Наша лимфа имеет такой же солевой состав, как и морская вода. Море живет в каждом из нас, хотя мы давным-давно отделились от него. И самый сухопутный человек носит в своей крови море, не зная об этом. Наверное, потому так тянет людей смотреть на прибой, на бесконечную череду валов и слушать их вечный гул. Это голос давней родины, это зов крови в полном смысле слова.

В рейсе со мной была книга «Арабы и море». Вот что я там вычитал: «Великая вода. От хеттского слова для нее – вадар и арабского матар (дождь) совсем близко до нашего матерь, мать, восходящего к индийской древности».

Хорошо бы составить сборник высказываний великих мира сего о воде и о море. Еврипид писал: «Море смывает грязь и раны мира». Неру просил, чтобы часть его праха развеяли над морем. Туда же навсегда ушел Фридрих Энгельс. А это были разные люди.

Море соединяет континенты и людей, море – такое же серьезное понятие, как земля, смерть, жизнь и любовь.

Я привык думать о море как о разумном существе. Всегда кажется, что оно знает мои мысли и ведает мои намерения.

Когда в детстве мама приучала меня верить в Бога, мне также казалось, что он, Бог, знает все, что сейчас во мне. И тут не солжешь. И когда много лет назад мне пришлось тонуть на разбитом корабле и страх сжимал душу, я вдруг понял, что море видит мой страх и это не нравится ему. Я ощутил это своей кожей. Как ощущаешь взгляд, который сверлит тебе затылок через замочную скважину. И постарался вытряхнуть из себя страх. И заорал, хлебая соленую холодную воду, какие то дерзкие и богохульные слова...

Оно умеет заглядывать в душу, это мокрое соленое существо, которое движется вслед, которое не знает, что такое покой, которое никогда не может удобно улечься в жесткое ложе своих берегов.

Вот почему с глубоким, торжественным почтением снимаешь фуражку, прочитав в газете: «Во время шторма в районе Азорских островов погиб французский мореплаватель Рене Лекомб, который пытался в одиночку переплыть в небольшой лодке Атлантический океан. Рене Лекомб погиб на 68-й день своего путешествия».

В чем смысл его гибели? Человек всегда хотел доказать себе и всей природе свою великую роль и особую миссию. Часто люди даже не думают об этом. Спросите укротителя в цирке, в чем главный смысл его профессии. Он наговорит с три короба, но сам вряд ли понимает, что дело не в красоте зрелища, не в ритме номера, а в том, что человек, заставляя льва пятиться по буму и перебирать лапами на блестящем шаре, утверждает победу всечеловеческого честолюбия.

Когда молодые люди в первый раз выходят в море и оно болтает их и заставляет отдавать за борт макароны и щи, то молодые люди стыдятся этого, стараются изо всех сил не выпустить макароны из себя. И тогда старые моряки утешают их, говорят, что адмирал Нельсон травил всю жизнь, что, командуя в Трафальгарском сражении, он все время имел при себе матроса с ведром. И что здесь нет ничего стыдного.

Но старые моряки лгут.

Нет такого человека, которому по душе поддаться морю хотя бы в такой мелочи, как обыкновенная тошнота. Человек не хочет уступать морю ни в чем. И оно знает это. И потому с ним надо держать ухо востро.

Караван вышел в Белое море и построился в две кильватерные колонны. Впереди нас расправил белые усы пены «Гвардейск», позади дружной компанией пристроились художники «Верещагин», «Левитан» и «Перов». Справа бодал высоким лбом влажный воздух «Суриков» и плавно покачивалась «Гавана».

Верещагин погиб на «Петропавловске», океан стал его могилой, но вот он вышел из нее и опять качается на бледных волнах Белого моря. Ему привычно сейчас.

Левитан, вероятно, несколько удивлен и радостно взволнован. Уходит в акварельную дымку зеленый Мудьюг, и столько света вокруг, такой простор. И отовсюду, из каждой точки этого простора, струится волнистый утренний, бессолнечный северный свет. И чистота тонов, и нежность переливов, и белоснежность неподвижной чайки.

Перову не хватает вокруг сюжетности. Раннее утро в Белом море чересчур импрессионистично для него, он строго поглядывает вперед, ему больше понравится в Баренцевом.

Суриков – северный человек, он умеет спокойно смотреть и спокойно ждать. Ему хорошо будет в Карском, когда за бортом появятся первые льдины, с густо-сизого неба рванутся к черной воде злые снежинки и караван повернет к Оби, к берегам его родной Сибири.

– Ну, вот и поплыли, – сказал Володя Малышев. – Как мы поделим вахты?

Нас было двое штурманов, а в сутках двадцать четыре часа. И без выходных. Правда, за все эти часы платят деньги, и не маленькие. Поэтому перегонщики не любят третьего штурмана на борту. И еще перегонщики не любят торопиться. Чем длиннее рейс – тем больше заработок. Очень неплохо, если ударит шторм и где-нибудь простоишь несколько суток. В какой-нибудь

хорошей бухточке. Если близко нет такой бухточки, то шторма не надо. Совсем тогда его не надо.

– Мне все равно, когда стоять вахту, – сказал я. И мы бросили жребий.

Ему достались все закаты, мне восходы. Он стоял с двадцати часов до двух ночи. Я с двух до восьми утра. Потом опять он шесть часов. И опять я шесть часов. Хватит времени подумать обо всем на свете.

Когда живешь в городе, редко видишь восходы. И забываешь, что они есть.

Утром меня не тянет уйти из дома, а вечером я листаю записную книжку и ищу, кому позвонить, и даже хорошая книга не может удержать меня на месте. Утро – это покой и созерцательность. Вечер – нервное стремление к движению.

Я был рад тому, что много раз увижу, как из ночного мрака будет рождаться день. Правда, около четырех ночи, пока не привыкнешь, очень хочется спать. И кажется, что утро и конец вахты не придут никогда.

В рубке совсем темно и тихо. Редко кто разговаривает. Только кашляют курильщики и потрескивает табак в дрянных сигаретах. И если нет ветра и качки, то как-то совсем не ощущаешь движения судна, потому что давно привык к шуму двигателей и вибрации от винтов...

Около четырех ночи – самое тоскливое время.

Конечно, когда ты плывешь в южном море, это другое дело. Когда небо мерцает звездами, и Млечный Путь мерцает галактиками, и море за бортом впитывает в себя лучи бесконечно далеких миров, тогда другое дело.

Но на Севере слишком редко бывает чистое небо летом. И недостаточно темно. Ночная тьма на Севере летом мутная. И утро вползает незаметно, рассеиваясь в низких тучах. Роса садится на стекла рубки, на сталь палуб, на брезенты шлюпок. И если ты вылезешь на мостик, чтобы взять пеленги маяка, то надо будет рукавом провести по стеклу компаса, ибо на нем тоже будет слабая влага.

И тут ты можешь увидеть большую морскую птицу. И если тебе повезет, она споет тебе песню без слов.

«Я лечу над морем совсем одна, – расскажет птица. – Ветер подпирает мои крылья. Фиолетовые скалы Шпицбергена остались далеко-далеко позади. Я знаю – скоро будет сильный ветер. Очень темным станет море, белая пена зашипит на волнах, серые полосы пены станут качаться на воде. А я буду лететь все дальше и дальше. Я не буду тратить сил. Выпростаю крылья против ветра. И ветер будет держать меня высоко. Очень высоко. Страшное море, огромный океан, пустыня воды и неба будут вокруг меня. А я все буду петь, смотря вниз, выискивая рыбу. Я буду петь, ожидая, когда замечу темный и быстрый извив рыбы. Потом я упаду вниз, бесшумная, и стремительная, и беспощадная. И тело рыбы забьется в моем клюве. И я ударю ее когтями и проглочу, и почувствую тяжесть внутри себя. Огромный океан будет подо мной, и волны в нем будут казаться мне гладкими и слабыми. О, катитесь дальше, волны. Я знаю, вам нет конца. Всегда вы будете бежать все дальше и дальше, синие и голубые, зеленые и серые. Всегда, всегда будет это...»

И ты помашешь вслед птице рукой, вернешься в рубку, зажжешь лампочку над штурманским столиком, желтый круг света плавно закольцует на бело-голубой карте, и вдруг на пустынном тундровом берегу, за сотни миль от ближайших селений, увидишь маленький черный квадратик и прочитаешь: «Изда Никольского». «Кто он? – подумаешь ты. – Жив ли этот упорец и жизнестоец? Или давно умер?» И как-то даже защемят сердце от мысли о нем, об его одиночестве и мужестве.

Интересно на спокойной вахте разглядывать карту. Так много людей оставили на ней свой след. От первых землепроходцев и мореходов до изящной женщины-корректора, которая тронула карту красной тушью еще совсем недавно. Она обязательно кажется тебе изящной –

далекая и неизвестная женщина, когда прочтешь внизу карты ее фамилию: Иевлева, Лермогорская... Хорошо, что корректоры чаще всего женщины.

И вот где-нибудь в море представишь, как они утром приходят на работу в гидрографию, поправляют прически, шутят, говорят про вчерашнее кино и садятся к стеклянным столам, включают подстольные лампы, читают «Извещения мореплавателям» и уходят странствовать по всему свету... Они не ссорятся, не завидуют друг другу, не делают гадостей, они довольны работой и зарплатой, и мечта о месте старшего корректора – не главная их мечта. Очень хочется верить во все это, когда вахта перевалила за половину и утро заползает в рубку.

Тишина рассеивается вместе с мраком.

Старший механик Александр Павлович Карев – пожилой неряшливый толстяк со средним техническим образованием, из кочегаров, уже на пенсии, но пошел в рейс, чтобы подработать; неуверенный в своих знаниях, но нахальный – долго кряхтит и наконец говорит:

– Берешь кастрюлю. В нее – слой тресковой печени, потом слой трески, потом картошечки и сверху – еще печеночки. И в духовку. – Механик чмокает, и у всех нас начинается выделяться слюна.

Есть хотят все. А больше всех – механик. Единственное, что он любит в жизни, – еда. Надо видеть Александра Павловича, когда на борт привозят продукты и мясо не влезает в холодильник. Тогда он отодвигает в сторону Зою Степановну, засучивает рукава, вытаскивает из холодильника все и начинает укладывать по-своему. Он тискает замерзшие коровьи сердца, он перебирает кости, он подкидывает в воздух свиные головы и хрюкает от наслаждения. Он не торопится уложить мясо, ему жаль расставаться с ним...

Ни я, ни Зоя Степановна его не можем любить хотя бы потому, что он ест не меньше двух тарелок супа за обедом, а продукты нужно экономить, и отвечает за продукты старший помощник, то есть я.

– Когда я плавал в тридцать третьем году на «Донце», ночной вахте какао давали и пирожки кок пек, – продолжает свою тему стармех.

Он сидит в правом углу рубки на высоком табурете, положив руки на пульт управления машиной. У нас дистанционное управление. Можно менять число оборотов двигателей и реверсировать их прямо из рулевой рубки.

– Смените пластинку, стармех, – миролюбиво говорю я.

– Лучше бы вы, дед, грелку в нашей каюте наладили, – поддерживает меня рулевой матрос Рабов.

– А ты электрический уют у буфетчицы возьми, – совершенно серьезно и доброжелательно советует стармех. – Он тоже греет.

Александр Павловичу нельзя отказать в известном юморе. И это единственное, что примиряет с ним.

Рабов не выдерживает и смеется. Стармех доволен удачей и развивает ее:

– В двадцать девятом году в Мурманске очень большой мороз был. Идем мы из кабака. Лошадь стоит, извозчичья, в пролетку запряжена. Мужика нет, а лошади холодно. Мы ее выпрягли и на третий этаж общежития завели. Ну конечно, полундру мильтоны подняли: где лошадь? А попробуй найди лошадь в общежитии на третьем этаже. Утром мы протрезвели, смотрим – лошадь между коек пасется. Что делать? Кормить ее надо. Был у нас такой кочегар – Наполеон Серенький, и дружок у него был, Адам Хорошенький. Мы их в командировку отправили – в ресторан за апельсинами. А она апельсины не ест...

Уже совсем светло.

Штиль.

Корабли каравана кажутся неподвижными. Пищит рация.

И вдруг я удивляюсь тому, что это я сижу на тумбе запасного штурвала перед открытым окном ходовой рубки на сухогрузном теплоходе № 760 и слушаю болтовню старика механика.

Почему меня опять куда-то несет по волнам?

2

Двадцать третьего августа 1964 года в два часа ночи я записал в судовой журнал следующее: «Ветер усилился до 5 баллов от норда. Высота волны 3 – 4 метра. Судно испытывает сильные удары о волну носовой частью днища. Крен на оба борта около 20°. Проверено крепление груза и крышек трюмов. Барашки стопорных механизмов периодически самоотдаются от вибрации».

Когда я лазал в кромешной тьме по трюмам, где скрипело, визжало, стонало, выло, гремело, мычало, выло, скулило ржавое железо; когда я боялся сорваться в какую-нибудь дыру и напороться на острый железный край; когда я проклинал эту погрузку в Петрозаводске и все эти старые речные пароходы, части которых мы тащили теперь через штормовое Баренцево море; когда от физического напряжения стало у меня побаливать сердце; когда удары волн оглушали долгим эхом в огромной гулкости трюмов, – я подумал о том, что, когда взрослеет моряк, он начинает все осторожнее говорить о море и ветре, о мужестве и трусости, он все больше понимает мудрость молчания и осторожности. Он не торопится говорить, что море – это ерунда и человек господин природы. Он не говорит, что Черное море – это малина и курорт, а вот Карское – очень плохо. Взрослеющий пишущий человек тоже не торопится говорить, что рассказ писать проще, чем роман, и что Лермонтов лучше Пушкина, а Маяковский чересчур социален и тем погубил свой талант.

Вот о чем я думал, вылезая из трюма, проверив крепление груза и проверяя стопора трюмных крышек. И эти стопора на один-два оборота поддавались усилию моих рук, а это значило, что стопора сами собой отдаются от вибрации. И это было нехорошо.

Мое родное Баренцево море шумело и плевало в физиономию мелкой холодной слюной. Я был зол на него. Оно заставило меня лазать по темным трюмам, из-за него у меня побаливало в груди. И я тоже плюнул за борт.

Так вот, я вернулся в рубку, скользя на мокрых ступеньках трапа, вытер носовым платком руки и глаза, взял авторучку и записал те строки в судовой журнал.

А сейчас, когда я перепечатывал эти строки, я подумал о том, что нельзя сказать: «судно испытывает удары носовой частью днища». Если судно получает удар, то его получает все судно. Так же как боксер получает удар, а не челюсть с левой его стороны. И все-таки в свободном записывании чего-то, в непосредственной записи, в безграмотности ее зачастую бывает больше точности.

Наш СТ получал удары именно в носовую часть днища: все судно начинало изгибаться, как змея. Но это была стальная змея, она изгибалась резко, и быстро, и часто, и при каждом изгибе опять шлепалась днищем о встречную волну; и все это складывалось вместе, шло в резонанс и еще к тому же качалось с борта на борт по двадцать градусов. Ничего не было здесь чересчур страшного. Все было нормально. Я просто хочу объяснить вам ту физику, в которой находится человек, если он плывет по Баренцеву морю и пятибалльный ветер на речном судне.

Интересно, что поэт, который написал строчки про физику и лирику, рифмовал их. Если говорить честно, мне кажется, что поэты часто идут в стихотворении за теми неожиданными и странными даже мыслями, которые вызываются на свет божий именно самой рифмой. И только в случае полного, на 180 градусов, расхождения получившейся мысли с главным мировоззрением поэта последний имеет силу отказаться от нее...

«И Дух Божий витал над пустынными водами».

Слова нашего языка витали над остывающей планетой, над кипящими океанами безмерно далекого прошлого. Слова ждали нас миллиарды лет. И мы наконец пришли, чтобы произнести их. Невидимые, они летают в глубинах галактик, уютно живут внутри нейтрино и

мезонов. Они ждут нас за каждой гранью познания. Они тоскуют без нас, но мы никогда не сможем произнести их все, как никогда не сможем представить бесконечность времени.

Бред сумасшедшего полон какого-то своего смысла, только смысл этот недоступен нам, как недоступен он и самому сумасшедшему. Случайный набор слов вызывает вдруг напряжение интуиции, эмоций, мозга. Мы чувствуем, что бесконечное сочетание элементов мира должно отражаться в нашем языке таким же бесконечным рядом слов и сочетаний.

Поэзия имеет самое прямое отношение к физике. Поэзия – та влага в глазах, которая смывает пыль. Если влага не омывает глаз, мы слепнем. Поэзия соединяет то, что кажется несоединимым, освещает старые понятия с неожиданного ракурса. Даже хулиганя, поэт интуитивно чувствует за непонятной строкой смысл. Поэт не может доказать существование этого смысла. Он только чувствует его в ритме звуков, в путанице интонаций. Поэт знает, что нет бессмысленных словосочетаний, как ученый знает, что нелепые результаты эксперимента означают не нелепость природы, а ограниченность опыта...

Я приказал увеличить ход, включил прожектор на корму. И приказал рулевому подавать гудком туманные сигналы.

Идущие впереди суда исчезали в тумане, и все, хотя и записывали в журнал, что уменьшают ход, на самом деле прибавляли его: запись в журнале, если произойдет авария, поможет избежать суда – и только. А если увеличишь ход, то будешь видеть идущее впереди судно и, может быть, избежишь аварии. Что избрать?

Туман густел, соседние суда уже пропали в нем, от сырости першило в горле. Никто не разговаривал в рубке, и только боцман временами ругал немцев, которые сделали центральное лобовое стекло неподнимающимся. Туман оседал на стекле мутными каплями, и боцману плохо было видно.

А снегоочиститель на стекле лопнул, и мы боялись долго гонять его, чтобы он, не дай бог, не разлетелся вдребезги.

Глаза болели от напряжения. Нервное дело – идти в густом тумане, особенно в караване, особенно ночью, особенно без радара, особенно в качку. Быстро теряешь юмор и превращаешься в брюзгу.

– Держать вразрез волны от переднего мателота! – приказал я.

– А какой великий выбирал себе путь протоптанней и легче? – спросил боцман. – Зачем держать вразрез, если чем труднее наша дорога, тем больше нам почета? Если бы фрицы, мать их...

Маленький боцман Гумунюк, по прозвищу Отросток, крыл немцев-кораблестроителей по всем статьям.

Ругался он виртуозно, по-боцмански. И был еще нечист на руку. В Лодейном Поле украл с новеньких комбайнов цепи с глагольгаками. Это были отличные, удобные цепи. Мы подвесили на них кранцы – автомобильные покрышки, чтобы не мять борта при бесчисленных швартовках в шлюзах Беломорского канала. И я даже похвалил тогда боцмана, ибо не знал, откуда он их стибрил. Потом боцман напугал нас гадюкой.

Теплоход всплывал из морской преисподней восемнадцатого шлюза к сияющим просторам летнего неба. И вдруг высоко над нами раздался женский крик и визг. Оказалось, что женщина чуть было не наступила на змею.

Наш Отросток разволновался, кинул на стенку брезентовые рукавицы с кожаными наладонниками и просил поймать для него гадюку.

И какой-то сердобольный остряк гадюку поймал и швырнул ее на палубу теплохода. Змея прямым ходом сунулась в пожарную магистраль, но боцман успел схватить ее за хвост, обрадовался и запрыгал по трюмам в индейском танце. Здесь старик механик напал на боцмана, отнял гадюку и пустил ее плавать за борт. Отросток расстроился так, будто получил повестку из военкомата.

– Зачем тебе змея? – спросил я.

– Я посадил бы ее в банку, кормил, изучал, – объяснил он.

Как ни странно, этот пройдоха и ворюга много читал. Я часто заставлял его с книгами знаменитых романтиков прошлого века. И как-то слышал боцманский рассказ о прочитанном в кругу матросов: «Французы на высоте романы сочиняют... Вот, например, у этой волосанки Франсуазы был хахаль Альфред. И вот она из-за любви лапти откинула – и с концами, в ящик. А граф передал ее письмо этому волосану барону. Барон – копыта в сторону и только через час очухался... Или вот „Дон-Жуан“ у Байрона, между прочим в порядке поэмка. Этот Дон тот еще волосан был, и все бабы у него на крюке были...»

Больше всего боцман боится военной службы. От нее он и удрал на перегон.

– Да ты, боцман, не переживай, – утешил его однажды механик. – Тебя в армию не возьмут.

– Почему так думаешь? – с надеждой спросил метровый Отросток.

– Точно знаю.

– Ну?

– Так ведь когда ты винтовку к плечу приложишь, так пальцем до спускового крючка не дотянешься, – объяснил механик.

3

На дневной вахте капитан обнаружил плавающую мину. Для идущих сзади судов – чтобы они обратили на эту мину внимание – мой капитан выпустил две красные ракеты. Никто, конечно, этих ракет не заметил.

– Это не была мина, Владимир Евгеньевич, – сказал я, принимая вахту.

– Я видел ее своими глазами, Виктор Викторович.

– Это была бочка из-под селедки, Владимир Евгеньевич, вы никогда не были военным и потому не знаете, что в...

– Это была нерпа, – сказал старший механик. – Я отлично видел.

– Это что-то не круглое, а четырехугольное, – сказал Рабов. – Зуб отдаю.

– Ясное дело – поплавок от сетей, – сказал второй механик.

– Это была плавающая мина! – заорал наш капитан и ушел из рубки, хлопнул внизу дверь.

Еще около часа мы грызлись на почве этого плавающего предмета. Потом я удалил лишних из рубки и включил радио. Передавали сообщение о переговорах по созданию объединенных ядерных сил НАТО. Меня чрезвычайно интересует создание этих сил. Ведь речь идет о морских делах.

Я не знаю, как там договорятся политики и дипломаты. Может, они и сунут длинный немецкий палец на ракетно-атомную кнопку. Меня интересует другая сторона вопроса: каким макаром там будут договариваться моряки. Уж их-то я знаю, моряков.

Почти каждый моряк убежден в том, что он хороший, стоящий моряк. И в этом все моряки мира одинаковы. И если за бортом мелькнул какой-то предмет с такой скоростью, что никакой человеческий глаз разглядеть ничего не мог, то здесь происходит то, что случилось у нас на дневной вахте. Ни один настоящий моряк никогда не повторит мнения своего коллеги. Каждый найдет именно свое, наиболее точное, абсолютно истинное объяснение мелькнувшему предмету.

Я представляю себе натовский ходовой мостик и немецкого, английского, турецкого, норвежского и американского штурманов с секстанами в руках. По свистку капитана в единый момент они вскидывают секстаны и прицеливаются на солнечный диск. Потом бросаются к таблицам и арифмометрам. И хоть на сотую мили, но у всех будут различаться результаты. Тут уж

просто сработает теория вероятности. Но ни один настоящий штурман в глубине своей морской души не согласится с другим. Разве может британский моряк смириться с тем, что немец или турок лучше него знает астрономию? Настоящий британский штурман скорее повесится на ноке реи. И то же самое сделает настоящий немецкий штурман на другом ноке той же реи. Или я ничего не понимаю в морских делах, или на следующей реи повиснет турок. И ничего с этими ребятами никакой политик и дипломат поделывать не смогут.

Между прочим, Ной был умен, как бес, когда набрал в ковчег слонов, обезьян и других зверей и не взял ни одного штурмана. Иначе в самый разгар потопа, когда над Араратом было два километра воды и голубь еще ни разу никуда не летал, этот ковчег обязательно бы нашел риф и распорол бы себе днище. И мы бы так и остались без зверей на веки вечные.

Но это еще только о «морской интуиции» и штурманском самолюбии. А каждое порядочное государство имеет на военном флоте свои святые традиции. Морская традиция – вещь чрезвычайно сложная, уходящая в глубь веков и до того уже на каждом флоте запутанная, что даже знатоки иногда чешут затылки не одну неделю. Святыни флагов, вымпелов и торжественных салютов, церемонии прибытия и убытия адмиралов, сигналы побудок и способы мытья палубы – все эти вещи так усваиваются организмом настоящего моряка, что передаются по наследству.

Мне так хочется чем-нибудь помочь морякам с объединенных кораблей НАТО, что я посоветую им заняться историей моей родины. Ведь западным политикам и в голову не приходит, что волею небес в России два века назад уже существовали смешанные экипажи. И посмотрите, что из этого получилось.

Перенесемся в июль 1725 года на кронштадтский рейд, на эскадру генерал-адмирала графа Апраксина. Адмирал этот, по выражению профессора Ключевского, был самым сухопутным из всех возможных, однако большой хлебосол. Российский флот, по выражению того же профессора, «донашивал гангутские паруса», а отличался от других флотов большим количеством адмиралов. Он и сейчас этим отличается – по традиции.

Итак, граф имел свой флаг на семидесятишестипушечном корабле «Святой Александр».

Независимо от флага генерал-адмирала, на эскадре развевались еще два адмиральских флага: вице-адмирала Вильстера на корабле «Леферм» и контр-адмирала Сандерса на корабле «Нептунус». Наконец, на корабле «Св. Александр» кроме его командира немца Лоренца сидел его капитан-командор англичанин Бредель. Британец должен был, согласно своему чину, командовать бригадой, то есть двумя-тремя кораблями, но их для него не хватило, и, таким образом, у «Св. Александра» оказалось на борту трое начальников: сам Апраксин – русский генерал-адмирал, англичанин капитан-командор Бредель и непосредственный командир корабля немец Лоренц.

Учитывая португальское происхождение контр-адмирала Сандерса и датское происхождение вице-адмирала Вильстера, вы видите, что я вас не обманул и у объединенных сил НАТО на самом деле уже были предшественники.

Все эти адмиралы и капитаны честно служили русскому флагу и старались изо всех сил, но эскадра, начав кампанию 14 мая, и к концу июля еще ни разу не смогла выйти с рейда на море и занималась пушечными экзерцициями в виду родных берегов.

На корабле «Св. Александр» положение было самым отчаянным. Ничто так не портит характер морского начальника, как присутствие на том же корабле еще других начальников. Капитан-командор Бредель, длинный и тощий британец, терпеть не мог командира корабля, толстого немца Лоренца. Из-за нехватки кораблей Бредель страдал комплексом неполноценности.

Вечером того дня, когда происходило дело, капитан-командор и несколько молодых русских офицеров – князя Белосельский, Барятинский и Одоевский – сидели за бизань-мачтой и ужинали, попивая портер – английское, весьма крепкое черное пиво особой варки.

Погода стояла отличная. Разговор, естественно, вертелся вокруг разных морских традиций.

– Можно ли на кораблях британских женщину на борт заводить? – поинтересовался князь Одоевский, подливая капитан-командору портгера.

– Только королеву! – торжественно отвечал англичанин.

И они дружно выпили за королеву.

– А разрешите ли вы, сударь, нашей сикиморе сие нарушение флотских традиций? – спросил князь Белосельский, подразумевая под «сикиморой» немца Лоренца. Он позволил себе такое выражение о своем командире, зная, что этим только доставит удовольствие капитан-командору.

– Никак того не разрешу! – сказал англичанин.

– А знаете ли вы, сэръ, что Лоренц на берег за женой шлюпку послал? – спросил князь Одоевский.

– Нет, – отвечал британец, бледнея от одной мысли, что женщина может ступить на трап корабля.

– Да-а-а, – сказал князь Барятинский. – На море на океане, на острове Буяне, стоит бык печеный...

– ...с одного боку-то режь, а с другого макай да ешь! – многозначительно закончил длинную фразу за приятеля князь Одоевский. Языки у всех уже изрядно заплетались.

Англичанин, конечно, ничего в таком высказывании не понял, но уловил как бы некоторое сомнение в его решимости не допустить на борт супругу немца. На нашем языке: «слабо».

– Кто богу не грешен, царю не виноват, – на всякий случай сказал британец. – А фрау Лоренцеву на корабль не допущу!

– В слове джентльмена сомнений не имеем, – успокоил его князь Белосельский.

Все они знали, что по русскому уставу разрешалось привозить на борт законных жен, если корабль находился при гавани. Таким образом, эти молодые балбесы подготовили себе развлечение на вечер. Дружны они были еще с времен знаменитой школы Глюка – первого российского общеобразовательного заведения, которое князь Куракин определил как «Академию разных языков и кавалерских наук на лошадях, на шпагах».

Здесь должен еще заметить, что наличие трех начальников вместо одного, как правило, расстраивает нервы у всего экипажа, ибо матросы совершенно путаются, какой приказ и какого начальника надо выполнять в первую очередь. Офицерский же корпус нервы сохраняет в порядке, но разбалтывается сам, ибо поле для стравливания начальников и соблазн для всяких провокаций слишком велики.

Показалась шлюпка, в которой копошилось что-то чрезвычайно пестрое, увитое лентами. А на палубе показался командир «Св. Александра» Лоренц, чтобы встречать свою супругу.

Британский капитан-командор сидел, всем своим невозмутимым видом выказывая главные качества подданных английской короны: хладнокровие и точность расчета. Он встал с места только тогда, когда жена Лоренца уже поднялась по трапу на палубу.

– На кораблях женщин иметь не положено, – процедил англичанин.

Но немец не был бы немцем, если бы не знал регламентов назубок.

– По Морскому уставу, сэръ, книге четвертой, главе первой, артикулу тридцать шестому, жен своих на рейде и реках иметь не запрещено, – доложил Лоренц.

Какой настоящий моряк не взъярится, если услышит из уст подчиненного упрек в незнании морских регламентов?

– Молчать! – заорал Бредель. – Кто на корабле «Сант-Александр» старший начальник? Я или ты? Прочь с корабля, каналья!

Но здесь Лоренцева жена, будучи женщиной русской, стерпеть не смогла.

– На кого ерыкаешь, басурман?! – спросила она. – Пустобрех несчастный, пустовраль, мздолюбец, пустоврака, пустоболт, хлыст, пустоплюй!

И никто не успел ее пресечь, потому что, вы сами знаете, когда офицерская жена открывает палубу, то ведет ее со скоростью современного зенитного автомата.

Британец опешил. А немец страшно перепугался, воспользовался замешательством британца и потащил супругу в укрытие – к себе в каюту.

– Что ты наделала, дура! – говорил он ей на ходу. – В российском Морском уставе, главе четвертой-надесять, в артикуле сто шестом, напечатано: «Ежели кто против бранных слов боем или иным свойством отомстить будет, оный право свое на сатисфакцию тем потерял и, сверх того, с соперником своим вместе в наказании будет!» Из-за тебя право на сатисфакцию я теряю; молчи, курица – не птица, баба – не человек!

Русские князья тихо корчились за бизань-мачтой, но, когда капитан-командор вернулся к ним, они приняли вид почтительный и сочувствующий.

Бредель, вернувшись, как всякий мужчина, чтобы успокоить нервы, выпил вина и сказал, что, если в все происходило на корабле Ее Величества, он бы знал, как поступить, и всадил бы пулю из пистолета в немца, прямо в толстый его, неспортивный живот.

На что молодой балбес князь Одоевский отвечивал:

– Сэр, пулю и дурак всадит, а вот позабавиться с супругой Лоренцевой вы имеете полное право, как вы есть на этом корабле старший.

– Так точно, сэр капитан-командор, – подтвердил князь Белосельский. – По нашего отечества варварским законам такое право вы полностью имеете...

И тем опять заронили в пьяную британскую голову вредную мысль.

Тем временем Лоренц с супругой взошли в каюту. Взволнованный Лоренц закурил трубку и сел на галерее, все повторяя, что курица – не птица, а баба – не человек. Супруга же его, которая от переживаний сильно разгорячилась, сняла с себя сразу тяжелые фижмы¹ и выплетала из волос ленты; и только шпильки, которыми был полон рот ее, мешали ей сказать супругу, что она о нем думала.

Бредель выпил еще и приказал караульным идти в каюту к Лоренцу и привести к нему супругу Лоренцеву, чтобы он, капитан-командор Бредель, с ней мог позабавиться. Приказ этот британец отдал громким голосом, и Лоренц слышал у себя на галерее каждое слово. Тут уж немец забыл про книгу пятую Устава, и про главу четвертую-надесять, и про артикул сто шестой. Не будучи в силах от волнения говорить по-русски, командир корабля «Св. Александр» Лоренц свесился с галереи и начал по-немецки упрекать англичанина:

– Ты сам женат, сударь, у тебя дочь взрослая. Гунсафт ты, если позорить честь честного русского офицера!

Немцы на русской службе часто забывали про то, что они немцы, а «гунсафт» по-немецки всего-навсего подлец, но англичанин по пьяному делу всего этого не понял, схватил шпагу и вызвал наверх караул. Поставив у дверей каюты Лоренца двух часовых, он объявил Лоренца и жену его арестованными.

– Я доброго отца дочь и доброго мужа жена, а ты бездельник! У тебя и кораблей-то в подчинении никаких нет! – закричала ему в ответ госпожа Лоренц и запустила сверху в капитан-командора яблоком.

– Фалл ундер! – заорал по-голландски капитан-командор, что по-русски в дотошном переводе обозначает: «Берегись предмета, падающего сверху!» – и что с тех пор стало в виде «полундры» обозначать шум и бедлам, недостойные быть на борту корабля.

Бредель потерял всякое соображение о происходящем и бросился бежать в каюту Лоренца, размахивая пистолетом.

¹ Фижма – юбка (см. Даля: «Индийский петух распустил фижмы»).

– Эх его сбзукало! – пробормотал князь Одоевский, несколько даже трезвее от накала страстей вокруг.

– Однако во флоте Ее Величества не зря бабам вход на корабли заказан, – поддержал приятеля князь Барятинский.

И они тяпнули еще по одной, ожидая развития событий. Ибо вмешиваться в отношения вышестоящих начальников ни один уважающий себя моряк никогда не позволит. Здесь главный морской шик – показать такой вид, будто ты ничего не видел и не слышал.

Призвав четырех русских гренадеров, англичанин ворвался в каюту Лоренца и приказал держать немца покрепче, а госпожу Лоренц, которая была полуодета, приказал вышвырнуть в шлюпку и отвезти на берег. Ошеломленные русские гренадеры, видя рассвирепевшего английского капитан-командора, не слушали возражений командира корабля немца Лоренца, который, ссылаясь на главу третью Устава пятой книги, девяносто девятого артикула, из последних сил орал, что ежели офицер товарища своего дерзнет бить руками или тростью на корабле, то лишен будет чина и написан в матросы...

Капитан-командор уже ничего не слышал. И по всем правилам хорошего английского бокса всадил немцу под микитки. Жена же Лоренцева от русских гренадеров отбивалась стойко, тыча в мужицкие хари китовым усом, который тогда для распяливания фижм применялся.

– Любострастную тебе, бритт, болезнь! – еще успевала она приговаривать, отбиваясь от русских гренадеров. – Болезнь тебе, от плотских похотей происходящую, французскую, дурную, постыдную! Блудливый ты кот, а не военного пятого класса офицер!

Гренадеры – на что они и гренадеры – все-таки справились с супругой Лоренцевой и отволокли ее в шлюпку, а капитан-командор кидал за ней с борта ее фижмы и другие принадлежности женского туалета того времени.

Разбор дела между Бределем и Лоренцем был поручен Особой комиссии, состоящей – под председательством вице-адмирала датчанина Вильстера – из шаятбенахта португальца Сандерса и капитанов: француза Барша, немца Трезеля, испанца Вильбоа и шотландца Бенса. Комиссия определила назначить над Бределем форменный суд. Председателем суда был назначен итальянец Сивере, ассессором – контр-адмирал немец Фангофт и аудитором, то есть делопроизводителем военного судопроизводства, – чиновник, русский человек, Зыбин.

Интернациональное это судилище, используя российские законы, никак не могло определить, в какую сторону – британскую или немецкую – склонить чашу весов, и потому заседания шли целый год. И наконец рассудили: "Написать капитан-командора Бределя в матросы на два месяца и выплатить из заслуженного его жалованья по окладу капитана Лоренца за шесть месяцев и отдать это Лоренцу с распискою.

А с правого требовать по три копейки с полученного рубля. А что касается до оскорбления жены Лоренцевой словами Бределя, то, по нашему мнению, настоящее суду не подлежит".

Немец Лоренц с англичанина деньги получил, но отдать в русскую казну по три копейки с рубля, естественно, отказался, вышел в отставку и уехал к себе в неметчину, бросив супругу в России.

А теперь проследим за дальнейшими боевыми успехами эскадры.

И пусть расскажет о них сама наша матушка-императрица.

Вот что Екатерина Великая писала 8 июня 1765 года первому министру Панину после осмотра Кронштадтской эскадры: «...У нас в изобилии и кораблей и людей, но нет ни флота, ни моряков. В ту минуту, как я подплывала к штандарту и корабли стали проходить, отдавая мне салюты, двое из них чуть не погибли по вине своих капитанов. Один попал кормою в снасти другого, и это, может быть, всего в ста туазах от моей яхты. Затем адмирал хотел, чтобы они держали линию, но ни один корабль не мог этого сделать. Наконец в пять часов пополудни подошли к берегу для бомбардировки предполагаемого города... До семи часов вечера стре-

ляли ядрами и бомбами безрезультатно, и наконец мне это надоело... Я просила адмирала не упорствовать больше в том, чтобы сжечь остатки этого города, потому что, прежде чем стрелять, привязали предусмотрительно в разных местах на берегу пороховые нити, которые не замедлили произвести должный эффект лучше, чем бомбы и ядра. Вот все, что мы видели в этом плавании. Надо признаться, что они больше похожи на флотилию, которая ежегодно выезжает из Голландии для ловли сельдей, чем на военный флот».

Кто хочет ознакомиться с подлинными материалами всего этого дела, может взять «Сборник морских статей и рассказов» – приложение к морской газете «Яхта» за ноябрь 1877 года и прочитать документы своими глазами.

4

Если вы думаете, что на следующей вахте мы не спорили о плавающей мине, то ошибаетесь. Все время, пока я принимал вахту у капитана, мы пытались убедить друг друга. И, конечно, не убедили.

Потом я опять слазал в трюм и увидел, что сварочные крепления железа в первом номере частью начинают отлетать. Ветер все жал от норд-веста. Качались мы до двадцати одного градуса на оба борта, и ходить по рубке было почти невозможно от резкой, рывками, этой качки. А я люблю ходить на вахте. Тогда быстрее проходит время.

После вахты я немного почитал «Праздник, который всегда с тобой». И, как всегда, с первых слов Хемингуэя у меня защемило душу. Когда открываешь настоящую книгу, начинаешь медленно погружаться в нее, то появляется томительное ожидание красоты, предчувствие той красоты, которая ждет тебя где-то впереди в жизни. И так веришь в то, что эта красота обязательно войдет в твою жизнь, что даже почему-то становится печально. И чувство благодарности к писателю пощипывает глаза.

Я болтался в своей койке где-то посередине Баренцева моря, тепло укрывшись одеялом поверх одежды (мы снимали только сапоги). Удобно горела над головой коечная лампочка.

У меня не было никаких забот, кроме заботы встать через шесть часов на вахту и отстоять ее честно. Моя совесть была более-менее покойна. Волна – я слышал это по звуку – становилась меньше.

Я читал о Париже и был полон предчувствием той красоты, которая еще обязательно ждет меня впереди. Хемингуэй грустил о своей первой жене. О первой жене часто грустят в старости. Интересно, как относятся к этой грусти вторые жены? И хорошо и плохо быть второй женой большого писателя, и я думал о том, что только одну женщину мужчина берет с собою в могилу и в полет к звездам. И так, очевидно, положено от Бога.

В «Празднике, который всегда с тобой» Хемингуэй много писал о еде. Он запомнил на всю жизнь, где, что и как они с первой женой ели. Он говорит, что голодал тогда. Сейчас многие на Западе подробно пишут о еде и питье и других плотских штуках. Я все-таки думаю, что они подробно пишут еду и питье не потому, что они голодали. Их голод – просто обжорство рядом с тем голодом, который знают в России. Хемингуэю даже не снился тот столярный клей, который мы ели в блокаду. А я как раз поэтому не люблю писать о еде. И совершенно не помню, где и что ем за день. А он точно запомнил то, что ел сорок лет назад в Париже. Дело тут не в голоде, а в том, что западные писатели через еду, вино и женщин хотят передать плотское ощущение жизни, ее материальность, плотность, вкус.

Читая «Праздник», я еще подумал, что Хемингуэй кое в чем начал повторяться. Только Толстой ни разу не повторился в своих художественных книгах из-за старости. Если он повторялся, так делал это вполне сознательно.

Хемингуэй был честным перед самим собой. Он не боялся плохого в себе, потому что всегда боролся против плохого в себе. И если он чего-нибудь не понимал, то спокойно говорил

об этом. Потому так сильно любят его книги у нас сейчас. Конечно, он был немного анархистом, когда писал: «Я сам часто и с удовольствием не понимаю себя», но если убрать «с удовольствием», то какой честный человек не повторит этих слов за ним?

Его герои часто одиноки, хотя он и сказал, что человек не может один. Его герои могут одни. Наверное, это оттого, что сам он всю жизнь сражался один. А сам он есть в любом его герое. Он писал: «Настоящее писательское дело – одинокое дело... Писатель работает один... именно потому, что у нас в прошлом было столько великих творцов, современному писателю приходится идти далеко за те границы, за которыми уже никто не может ему помочь». И с ним вместе уходили в далекое одиночество его герои. Быть может, потому он и пустил себе пулю в лоб? Очень тяжело долго сражаться в одиночку, амортизация души должна быть огромной, усталость тоже.

Я прочитал страниц двадцать и уснул, очень какой-то просветленный от хороших предчувствий.

И вполне естественно, что мне приснился Хемингуэй.

Я был у него в гостях. Я сидел на диване, а он на стуле. И вокруг было очень много вещей. Он был добр со мной, ласков и жаловался на старость. Потом он встал и ходил по комнате, глядя на меня, говоря какие-то точные слова, разделенные длинными, медленными паузами.

А я знал, что он мертв, хотя и ходит по комнате, говорит со мной. И как всегда, когда видишь во сне покойников, было странно и чуть жутко – и в то же время преувеличенно спокойно. Он чем-то напоминал мне отца.

Он ушел в другую комнату, легко занимаясь своими делами в моем присутствии, не тяготясь мною. А я стал смотреть на картину. Она висела передо мной. Голые ивы, изогнутые от долгих ветров, черные их стволы. И во сне, ожидая его возвращения, я думал о том, как хорошо бы попасть в такой ивовый лес с ним вместе. И как вкусно он приготовил бы колбасу в огне костра. Как он не торопился бы ее есть не поджарив. А я всегда тороплюсь и ем что попало и как попало. А он бы ее хорошо приготовил.

Я все ждал, когда он вернется, но тут пришел матрос Рабов и заорал в дверь: «Вам на вахту!»

Я вскочил и сразу ощутил обиду и сожаление о том, что не досмотрел сон, не дождался Хемингуэя, не попрощался с ним. Был один час пятьдесят минут 24 августа. Я видел очень отчетливый сон, такой реальный, какие я редко вижу. И мне все время было обидно, пока я натягивал сапоги, ватник и фуражку. Потом я зашел в галльон, думая о том, как не боялся писать о таких вещах, как галльон, Хемингуэй, и поднялся в рубку.

Шторм перестал.

Воздух прояснел за то время, что я спал. И в нем очень ясно горели огни судов сзади и справа. И огни казались уже ненужными, потому что рассветало.

От горизонта до зенита полосы туч и полосы чистого неба чередовались. Темно-фиолетовые тучи лежали на самом горизонте. Над ними светила ярко-оранжевая полоса рассветающего неба. Потом шел слой узких и четких, как стрелы, туч. Над ними – желтая полоса, блистающая холодным атласом. Еще выше – густой слой растрепанных, сизых, беспорядочных облаков, в просветах между которыми нежно светила голубизна.

По медленно качающейся воде бежали к судну желтые и голубые блики, но эти блики не могли сделать воду светлой. Она была по-ночному густой и темной. Блики только скользили по ней, не просвечивая в глубину.

– По правому борту виден остров Матвеева, – сказал мне Мальшев.

– Мигает? – спросил я про маяк на этом острове. Мы вторые сутки не имели определений.

– Нет. Просто торчит. Рикки-тикки-тави.

– С чего ты?

– Мы вспоминали сейчас, как звали эту мангусту, и я наконец вспомнил... Возьми пеленга на оконечности Матвеева или сделай крьюйс-пеленг по маяку.

– Есть, – сказал я. Мне хотелось, чтобы он меньше говорил и скорее ушел из рубки, оставил меня одного, чтобы дольше не рассеивалось то ощущение, которое оставил во мне сон, встреча с Хемингуэем.

– Флагман опять не выходил на связь, – сказал он. От пронзительного северного рассвета в рубке было холодно.

– Сходи вниз, там чай есть и каша, а я журнал запишу, – сказал Малышев. Как настоящий моряк, он никогда не торопился уходить с вахты, хотя время его и закончилось. Не следует показывать свою усталость и желание залезть в тепло койки.

Я спустился в кают-компанию, попил чаю и поел каши «сечка», все продолжая тревожно и радостно вспоминать свой сон. И вспомнил еще одну деталь – Хемингуэй угощал меня коньяком. Пожалуй, я первый раз пил спиртное во сне.

Было приятно сидеть за столом, который больше не качался. От качки, как ни привыкай к ней, все-таки устаешь.

Потом я принял вахту, взял пеленга на оконечности Матвеева и проложил их на карте.

Возле острова были отмечены шесть затонувших судов. Я представил, как они в тумане натыкались на скалы и гибли. Или наоборот, как они спешили к этому клочку суши, имея в трюмах пробоины. Как они успевали добежать к острову, и люди спускали вельботы, а корабли опускались на дно возле скал. Наверное, большинство судов погибло здесь во время войны. Я всегда думаю о погибших кораблях, когда вижу на карте значки, обозначающие их. Эти корабли кто-то когда-то победил. Или их победило море, или другие люди.

Раньше люди мало занимались философией побежденных. А теперь Экзюпери с его: «Побежденные должны молчать. Как семена». И Брехт с его: «Самое главное – научить людей правильно мыслить... Побежденные должны помнить, что и после поражения растут и множатся противоречия, грозящие сегодняшнему победителю». Хемингуэй, тот всю жизнь только и занимался философией тех, кто побежден, но все равно победил. Сегодня все больше становится ясно, что нет побежденных и победителей в мире.

Море вокруг было такое не старое, темное и тяжелое, как герой моего сна. И волны были жилисты, как бицепсы старых боксеров. Но их удары были слабы, как удары старых боксеров. И можно было не лазить в трюм, чтобы проверять крепление груза.

Вайгач

В девять часов утра 24 августа 1964 года наши суда втянулись в бухту Варнека на острове Вайгач и стали на якорь кабельтовых в трех от берега.

Стоянка обещала быть короткой. Флагман торопился изо всех сил. И моряки каравана спешили побывать на берегу, купить или выменять у ненцев из поселка медвежьи и олени шкуры, вяленого омуля или оленину.

В бухту Варнека редко заходят суда. Транспортам здесь нечего делать, они следуют мимо в пролив Югорский Шар или в Карские Ворота. Изредка забредет в бухту ледокол, подремлет на якорю в ожидании очередного каравана. Ведь за островом Вайгач начинается Арктика. Льды Карского моря зачастую закупоривают проливы. И вот ледоколы ждут караваны у порога Арктики.

Уже много веков тому назад вдоль берегов Вайгача пролежала дорога в Карское море русских и иностранных купцов. Особенно здесь было оживленно после основания в 1601 году на реке Таза в Обской губе укрепленного города Мангазея. Из Мангазеи возили шкурки соболя, лисы белки. А в Мангазею – иностранные товары. Особенно отличалась Англия. Тобольские воеводы всполошились, стали писать жалобы и доносы, ибо терпели от иностранных хороших товаров убытки. Воеводы требовали запретить Северный морской путь для всех судов вообще. Мудрым указом царя Михаила Федоровича этот путь закрыли. В те времена указом, вероятно, можно было закрыть и Америку. Ослушникам грозило наказание батогами. А на Вайгаче поселили стражу из пятидесяти человек.

Эти пятьдесят человек были геройскими парнями. Они умудрились так хорошо нести свою службу, что уже через несколько лет Мангазея, где раньше собиралось до двух тысяч купцов в навигацию, пришла в полный упадок и даже исчезла с карт. Как эти ребята ловили корабли, следующие вдали от Вайгача, среди подвижных льдов, в штормы и туманы, мне непонятно. Как они без радиолокатора обнаруживали эти ладьи, как добирались до них и каким оружием задерживали, мне тоже совершенно непонятно. Одно мне ясно – это были отчаянные ребята.

С какой тоской глядели они на пустынные, мертвые берега острова, когда плыли в первый раз по мертвому морю. Как сложили они для себя избы-станки, как болели цингой, какие красные были у них глаза от огня и дыма ворваньего светильника. Как выла пурга за стенами изб. И как в эту пургу шатались они по мысам и выглядывали в море корабли-нарушители. И как, прыгая со льдины на льдину, выбрасывая из глоток клубы пара и фонтаны ругани, потрясая пищалками и алебардами, спотыкаясь и падая в полыньи, подбирались они к иностранной ладье и совали в нос кормщику царев указ. Крепкие это были солдатушки. Мир праху их! И сейчас-то жить на Вайгаче тяжело. И зимовщикам здесь платят столько же, сколько тем, кто зимует в Центральном полярном бассейне.

Мы пришли на Вайгач в разгар лета.

Был солнечный, со слабым ветерком день. В бухте Варнека вода лежала в зеркальной неподвижности. И черные скалы берегов отражались в ней. За скалами виднелась блеклая зелень тундры. И домишки ненецкого поселка, который так и называется – Бухта Варнека.

Я много раз бывал здесь, но матросы не были и просили меня пойти с ними на берег. Капитан разрешил, и я приказал спустить шлюпку.

Со мной пошли боцман, второй механик Калинин и старпом соседнего судна Ваня, длинный, худощавый, юмористический мужчина, очень похожий на артиста Филиппова. Легкая шлюпка бесшумно скользила по спокойной воде. Вода была прозрачна и холодна. Видны были валуны и осколки скал на грунте.

Мы завели шлюпку в укромную бухточку, вытащили ее далеко на гальку, боясь прилива, и поднялись на ближний тундровый горб. Про те холмы, которые есть в тундре, всегда почему-то трудно сказать именно «холм». «Холм» слово среднерусское или даже южнорусское. А здесь – горбы, плавные, переходящие один в другой невдалеке от берегов моря. Затем сливающиеся в ровную, как стол, тундру. И в этой тундре много озер. Когда видишь тундру с самолета, кажется, что ее беспорядочно бомбили тысячи самолетов. И воронки заливала вода. И если есть солнце, то они все блестят под его низкими лучами.

На возвышенности, куда мы поднялись, чавкая сапогами по болоту, ветер был сильнее и холоднее. Он посвистывал в камнях и редких травах. И посвист ветра только подчеркивал вечную тишину и пустынность этих мест. И сразу же мы увидели могилы.

Боже мой, куда ни занесет тебя судьба на Север, везде встречаешь могилы. И это не потому, что здесь умерло или погибло больше людей, чем в остальных краях земли. Нет, на русских полях и в горах Кавказа погибло людей в тысячи раз больше. Но там могилы не так заметны и не вызывают такого щемящего и сильного впечатления, как на Севере. Там взгляд останавливается на деревьях, домах и дорогах, там могилы прячутся в тени кладбищ. А здесь могилы видно издалека, и всегда тянет подойти к ним, узнать о прошлых людях, узнать их имена.

И брэнность жизни, и вечность ее окружают северные могилы и бьют по сердцам.

В одинокой могиле, которая вознесена высоко над морем, есть величие человеческого мужества. На Севере, в ледяных пространствах, человек сильнее всего доказал, что он может победить даже одиночество.

Маленькое кладбище в бухте Варнека обнесено слабой загородкой. В центре его высится самодельный памятник двум летчикам, которые разбились здесь. Их имен нет на цементе памятника. Только подлинный самолетный винт чуть качается за оградкой кладбища, молча рассказывая об аварии. И только по старости металла можно определить, что погибли летчики много лет назад. Сам памятник сделан людьми для того, чтобы быть памятником, а винт и лыжи – истинные участники трагедии, потому они действуют сильнее памятника.

Высохшие стебли цветов лежат на могиле летчиков, прижатые от ветра гольшом.

Дальше могила, в которую забит здоровенный кол, и на этом колу висит спасательный круг. Краска с круга слезла, снег, дожди, ветер растрепали парусину обшивки, пробка высыпается из дыр. Пожалуй, не следует вешать спасательные круги на могилы моряков. Спасательный круг, который не спас, выглядит насмешкой.

Надпись:

При выполнении боевого задания

в проливе Ю. Шар

10 октября 1946 г.

скончался матрос

ЛЬВОВ

Алексей Васильевич.

Спи, дорогой товарищ.

1927 – 1946 гг.

Ему было бы сегодня тридцать семь лет, этому дорогому товарищу Леше Львову.
И еще одна могила – стальная труба, воткнутая в землю, металлическая дощечка с выбитой точками – зубилом – надписью:

ЛЕДНЕВ

Александр Иванович

Ст. пом. кап-на п/х «Правда»

Я вытащил записную книжку и записал эти имена. Пускай их вспомнят люди.
Кроме посвиста ветра слышался еще голодный лай собак у окраины поселка. Псы сидели на цепях и бесились от тоски в ожидании, когда выпадет первый снег и их запрягут в нарты. Псы вертелись вокруг кольев, к которым были прикреплены их цепи, и тянулись друг к другу, чтобы покусаться, подраться, но цепи были рассчитаны точно, и дотянуться друг до друга псам было невозможно. Мы постояли у могил, сняв шапки, слушая ветер и лай псов. Мы видели отсюда далеко. Ниже нас расстилалась вся бухта Варнека. И корабли нашего каравана казались отсюда маленькими и слабыми. Видны были и противоположные берега бухты.

Огромное северное пространство окружало нас.

И Ваня все-таки не удержался, по русской богохульной привычке сказал, оглядываясь вокруг, тыча пальцем в кладбище:

– Мест еще много, а вид отсюда хороший.

Мы спустились вниз, и псы совсем с ума посходили от желания сорваться с цепей и познакомиться с нами. И только один пес – вожак сидел совершенно неподвижно, повернувшись к нам спиной и презирая нас изо всех собачьих способностей, и ни разу даже не повернул к нам башки, не говоря уже о том, что молчал как рыба.

Мы прошли мимо и возле первого домика встретились с ребятенком лет шести-семи. Мальчик это или девочка – понять было невозможно: ребяенок был одет в малицу. Он смотрел на нас безбоязненно, но немножко разыгрывая испуг и удивление. Он спрятался за ящик и как бы прикрывал этот ящик своим маленьким телом. Но ему было очень любопытно, и он все выглядывал из-за ящика, когда мы шли мимо. И раскосая рожица ребяенка была очень смешной, хотя болячки покрывали его губы и веки. Он был грязен, и ему было холодно в одной только малице, надетой прямо на голое тело.

И здесь я пожалел, что не взял у нашей буфетчицы Зои Степановны конфет. Я знал, что у нее есть конфеты, но не подумал о детишках на берегу.

– Эй, – сказал Ваня, – ты чего там прячешь?

И мы заглянули в ящик, который слабо оборонял от нас маленький ненец. В ящике были аккуратно расставлены пустые водочные бутылки, а среди этих бутылок сидел большущий – на полметра в высоту – полярный орел. Орел тихо шипел и гнутым страшным клювом рвал голубые олени внутренности и глотал их. Злобные глаза орла косили на нас желтыми зрачками.

Ребяенок испугался, что мы отнимем орла, схватил его, прижал к себе обеими руками и поволок от нас прямо в тундру. Орел был такого же роста, что и ребяенок, орел не доел свою еду и заорал гортанным злобным и жалобным клекотом, щелкая гнутым страшным клювом возле самых глаз ребяенка. Почему он не бил его клювом по голове, по лицу – непонятно. Орел жалобно клекотал и щелкал клювом, а маленький ненец волок его по тундре, мимо навсегда завязшего в мокрой почве трактора, мимо кучи ржавых консервных банок, мимо трупа собаки и деревянных жидких мостков.

Из дома вышел древний старик, весь высохший и потрескавшийся так, как трескается оленья шкура, если долго висит близко от огня.

– Здравствуй, отец, – сказал я.

– Здравствуй, здравствуй, – отвечал старик, щуря глаза на солнце.

Он стоял и смотрел мимо нас, в бухту, на суда каравана.

Второй механик открыл фотоаппарат, навел на старика. Старик сложил руки на груди и стал спокойно позировать.

– Как тебя звать, отец? – спросил я. – Мы тебе карточку пришлем.

– Гурий Павлович, – четко ответил старик.

– Я тебе, Гурий Павлович, обязательно карточку пришлю! – сказал наш второй механик. Он был добрый и искренний парень, и он искренне думал, что пришлет старику карточку из Ленинграда.

– Нет, не пришлешь, – сказал старик и ушел в дом.

А мы пошли фотографировать оленей. Олени стояли запряженные в нарты, четыре в ряд, и никого возле них не было, и они не были привязаны, наверно, они так стояли со вчерашнего дня, когда их хозяева приехали в поселок на свадьбу. Это были добрые и теплые звери.

Когда я хотел погладить одного по морде, он мотнул головой в сторону, и его рога ударились о рога соседа, тот сосед ударил рогами по рогам следующего. И рога тихо, костяно звякнули. А олени смотрели на нас большими грустными глазами, покорные и безропотные.

Мне всегда бывает жалко северных оленей. Они как будто с самого рождения знают о том, что им рано или поздно перережут глотку, сварят и съедят. Коровы не знают, овцы тоже не

знают, и бараны не знают, а северные олени, кажется, всегда помнят об этом. И как бы заранее не возражают против такого конца – из уважения к людям.

Возле следующего дома стоял маленький олененок в цветастом ошейнике, привязанный к бревну. Рога олененка недавно спилили, кочерыжки замазали краской, из-под краски выступила и запеклась кровь. По молодости лет олененку дали мешок с травкой, и он жевал ее, когда я подошел к нему. Он сразу сунулся головой мне в руки. У него, наверное, саднили обпиленные рога, и они чесались, заживая. Я осторожно почесал между рогами, ему стало больно, и он отклонился, очень деликатно. И сразу опять просунулся головой мне в руки, когда я собрался уходить.

А людей на улице поселка не было. Два ряда домов казались неживыми, пустынными. Очевидно, после свадьбы все еще спали.

Дерево домов, столбов и мостков, как везде на Севере, было бело-серое, альбиносное. Цвет из дерева выбит стремительными ударами бесчисленных снежинок, дождями, ветром. И небо здесь к осени тоже выцветает. И солнце бывает белесым даже на закате и восходе. И дерево – под стать ему. Это не оранжевый и лиловый цвет сосновых стволов, и не зеленоватый цвет ольховых бревен, и не желтые еловые доски. Здесь дерево цвета серой промокательной бумаги. На него грустно смотреть. Его привезли сюда из-за тридцати земель, и оно тоскует по родине, все эти бревна, доски и столбы, которые где-то и когда-то кудрявились листвой и шелестели под ветром в лесах...

Я зашел в один из домов. Мне хотелось посмотреть, как живут там ненцы, привыкшие к чумам и кочевью.

В комнате прямо на стуле лежала недавно освежеванная оленья туша. Возле туши стоял белый эмалированный таз с оленьей кровью. Кровь была совсем свежая, она еще пузырилась. На стене висела акварельная копия шишкинской «Сосны». На подоконнике лежал толстый и растрепанный роман «Абай». И больше в первой комнате никого и ничего не было. А во второй комнате на полу постелены были шкуры. Под шкурами спали пожилая женщина и четыре-пять детишек. Дышалось здесь тяжело. Я тихо вышел.

Спутники мои куда-то пропали. Стая молоденьких щенков бросилась мне под ноги. Я переворачивал их вверх ногами и трепал по брюху. Не надо было этого мне делать. Щенки оказались так непривычны к людской ласке, что уже не отставали от меня. Они носились вокруг, переворачивались пузом вверх, лаяли, скулили и требовали ласки. Им ужасно хотелось игры. Они пришли в такой ажиотаж, что стали кусать друг друга за уши. А я не мог погладить и потискать всех.

У одного из щенков к ошейнику был привязан бубенчик. И по тому, что у него были ошейник и бубенчик, я понял, что когда-нибудь он будет вожаком. Честное слово, я сам понял это, когда сзади кто-то сказал:

– Вожакom будет.

Это сказала мне женщина, одетая по-европейски. Она была даже в туфлях, хотя по мокрому болоту ходить можно только в сапогах.

А этот щен с бубенчиком был очень мускулистый, гладкий, довольный своей молодостью. И он знал, что сильнее и красивее других, но покамест не использовал по молодой глупости свои преимущества. Он еще был демократом в коллективе других щенков.

Если говорить честно, я хотел этого щенка украсть. У меня давно есть мечта – завести себе настоящую сибирскую лайку. Чтобы она жила со мной в Ленинграде, чтобы ей было жарко летом, чтобы она любила меня, была злой, но для меня доброй, чтобы она выла и плакала, если я умру вперед нее или куда-нибудь уеду от нее. И чтобы я так любил ее, что, если она умрет вперед меня, я тоже бы плакал. Это глупо все, но я в самом деле давно так мечтаю.

– Вожакom будет, – повторила женщина. И я понял, что не смогу украсть этого щенка с бубенчиком. Не хватит совести.

– Вы невеста? – спросил я.
– Нет, – засмеялась она. – Я только в гости приехала.
– Почему из бани дым идет? – спросил я.
– Вы здесь уже бывали? – спросила она меня в ответ.
– Да, – сказал я.
– По-моему, я вас уже видела.
– Вряд ли. Я здесь давно последний раз был. И вы здорово младше меня.
– Когда? – спросила она.
– В пятьдесят пятом я здесь отстаивался.
– С караваном?
– Да. Только я тогда на рыболовных судах шел.
– А все-таки я вас помню. Я вас где-то видела. Я в Хабарове интернат кончала. Я теперь учителем в Амдерме работать буду. Я вас точно помню. Вы мне какао пить давали.
– Какао? – переспросил я, чтобы выиграть время.
– Ага.
– Чертовщина, – сказал я, польщенный в то же время тем, что здесь, на краю земли, кто-то меня знает.

Мне пришлось когда-то идти отсюда, из бухты Варнека, в пролив Югорский Шар, в становище Хабарово, вообще без карты. Приказали мне идти на сейнере на полярную станцию, потому что считалось, что я лучше других капитанов в караване знаю эти места, Арктику. И я дошел нормально, но потом, как моряки говорят, обсох там, в Хабарове.

Я очень смутно помнил то свое приключение. Помнил только, что какой-то человек крутился на турнике возле полярной станции. И еще помнил двух девушек-медсестер из красного чума. Они пришли к нам на судно в гости, когда мы не могли сойти с обсушки, а нам било в корму тяжелым накатом. И я все пытался связаться по рации с флагоманом каравана, но высокие каменные мысы не пропускали радиоволн, и никто мне не отвечал. И растерянность была ужасная – я тогда первый раз в жизни шел капитаном.

Я помнил, что девушки-медсестры были удивительно скромные, хорошие, настоящие подвижницы. Они поехали из родных своих вологодских и новгородских мест на Крайний Север, чтобы привить ненцам культуру и основы сегодняшней медицинской науки.

А когда они оказались у меня на судне, они прижимали свои длинные платья к коленкам, сидели, распаренные котлетами, и пили какао, и нам очень не хотелось уходить.

И еще один гость у меня тогда был на борту – мальчишка-ненец лет десяти. Он с нами вместе возился в прибое, когда мы заводили с кормы швартов на валун, чтобы судно не развернуло бортом к накату.

И вот оказалось, что тот мальчишка и стоящая теперь передо мною женщина – одно и то же существо.

– Вы мне какао давали, а я непривычная к нему была, не хотела. Мне больше чай нравился, – объяснила женщина. – Я вас хорошо запомнила. Вы мне книгу подарили. Рассказы Рабиндраната Тагора.

– Очень приятно теперь вас встретить, – сказал я. – Шкур оленьих у вас тут ни у кого нет?
– Есть, но невыделанные все, протухнут сразу. У нас-то здесь холодно, а вы их домой не довезете.

Я увидел своих ребят, они возвращались к шлюпке.

– Ну, прощайте, будьте счастливы, – сказал я. – Может, и еще судьба сведет.

– Спокойного плавания! – пожелала она мне.

Матросы уже скрылись за береговым обрывом, и я шел по тундре совсем один. И вдруг увидел, как много вокруг цветов. И колокольчики, и пушица, и незабудки, и желтенькие какието. Очень нежные, прозрачные цветы в холодном воздухе на холодной мокрой земле.

Громко кричали над бухтой чайки.

Жизнь была вокруг, много жизни.

Я шел мимо кучи оленьих костей и ржавых консервных банок и думал о грязных здешних ребятишках. Они грязны, но в этом то презрение к собственному телу, без которого не заставишь себя шагнуть навстречу смраду, вырывающемуся из медвежьей пасти. Им наплевать на лишаи. Пускай мальчишка мал ростом и грязен, но кто может сегодня похвастать тем, что его сын рос в обнимку с орлом, таскал орла по топкой тундре, прижав к груди, сердцем в сердце, слушал с рождения гортанный злобный и жалобный орлиный клекот?

Я только что видел старые могилы и все еще слышал собачий лай и посвист ветра в выветренном камне. И почему-то думалось о том, что нет на свете отдельно жизни и отдельно смерти, а есть что-то безнадежно перепутавшееся между собой и что нет нужды и смысла разбираться во всем этом. А надо жить проще и не бояться смерти, как не боятся ее северные олени и ненцы.

Матросы уже спустили шлюпку, они замерзли и сильно навалились на весла.

Вода стала еще прозрачнее. И глубоко внизу видны были плавно извивающиеся водоросли.

Лабытнанги – Ленинград

1

Через две недели мы играли в преферанс в мрачном общем вагоне поезда, идущего от станции Лабытнанги в Сейду по тундре.

Нам не хотелось играть в карты и пить водку, потому что мы здорово устали, сдавая в Салехарде суда речникам. Всегда, когда сдаешь судно, что-нибудь в нем оказывается не в порядке и всегда чего-нибудь не хватает из имущества. У меня не хватило пары кирзовых сапог, которые стибрил коротышка-боцман (за что его побили матросы), двух весел к спасательной шлюпке, ключей от трюмов и еще двадцати-тридцати наименований.

И вот пишешь акты и проклинаешь приемщиков и какого-нибудь Ероху, у которого сам принимал с недостатчей, а потом отмечаешь с приемщиками, стараешься по-всякому надуть их, и они в конце концов рвут акты, машут безнадежно рукой, и вы расстаетесь с ними без раздражения, но и без желания опять встретиться. И так торопишься после этого скорее уйти с борта, что даже забываешь попрощаться с судном.

А когда ты болтался в море и вышагивал по рубке свою вахту, то был близок к судну и думал о том, как тяжело будет с ним расставаться. Твое судно переваливало очередную волну, кряхтя всеми своими сочленениями, ты любил его, невольно плечом подпирал стенку в рубке, помогая ему перевалить волну, и даже говорил с ним. И без всякой сентиментальности при этом. Иногда казалось, что судно оборачивает к тебе свою длинную морду и косит на тебя взглядом так, как делает это добрая лошадь, когда ждет похвалы от всадника за искреннее усердие.

А когда акты уже подписаны, ты торопишься скорее уйти, чтобы приемщики, чего доброго, не обнаружили, что яйца, которые ты сдал в количестве двухсот штук, возможно, уже протухли. И еще ты торопишься на катер, или машину, или на поезд, чтобы лишние сутки не валяться в залах ожидания на станции Лабытнанги, чтобы опередить других своих товарищей, перегонщиков, и первым достать билеты.

Ты хватаешь свой чемодан, дергаешь ящики в каютном столе, видишь в них только старые журналы, старую зубную щетку и старые, ненужные больше накладные. Ты вроде бы ничего не забыл. Но тут вдруг бросает на тебя с каютной переборки взгляд женщина, которая плыла с тобою рядом от самого Ленинграда, какая-нибудь Мерлин Монро. Ты торопливо отковыриваешь кнопки, суешь карточку в карман пальто и драпаешь к трапу.

Идет дождь. На душе погано. Ибо ты оставил каюту с мусором, неприбранную, и совестно еще и от этого. Трап стоит отвесно, очень скользко, рука занята чемоданом, ветер пронзает насквозь.

Всегда, когда летом уплываешь на Север, не верится, что там будет холодно, хотя ты уже раз двадцать испытал это на своей шкуре. И ты слезаешь по отвесному трапу на мокрую глину, чертыхаясь от холода. И уходишь, даже не оглянувшись на свое судно.

За пазухой у тебя много денег, впереди возвращение в отчий дом и период беззаботности. И хотя ты отлично знаешь, что деньги улетучатся очень скоро, а дома ждут тебя только неприятности, но удивительно легко забываешь об этом.

Только после сдачи судна можно так легко, без напряжения, забывать о плохом. Именно этим период после сдачи судна так обаятелен, я даже сказал бы – великолепен.

И еще он прекрасен тем, что ты долго не видел женщин, а на земле их вокруг навалом, и тревожное ожидание необыкновенной встречи переполняет тебя до самых ушей. И опять-таки, отлично знаешь, что в купе окажется твоей попутчицей лейтенантская жена, бывшая офици-

антка из полковой столовой, с тремя детьми, но все равно ты полон ожиданием прекрасной встречи.

И вот, когда мы сели в общий вагон в Лабытнангах, чтобы доехать до Сейды (это шесть часов), а в Сейде пересесть на поезд Воркута – Москва, доехать до Вологды и в Вологде пересесть на поезд до Ленинграда, – мы встретили прекрасную женщину.

Общий вагон есть общий вагон. В нем полутемно и душно. А когда за окном вагона тянется мокрая тундра, то встретить прекрасную женщину можно только во сне. Но это случилось наяву.

Она проверяла у нас билеты.

Она глядела на нас темными огромными глазами и ждала с протянутой рукой. А мы тянули резину с этими билетами, чтобы она ушла не сразу, чтобы она подольше смотрела на нас своими глазами, чтобы она сердилась и еще больше темнела от этого своими глазами; и мы спрашивали у нее всякую чепуху: давно ли она ездит, есть ли у нее муж, как она выбрала себе профессию. А я, например, от острого недостатка воображения, спросил, что означают звездочки на рукавах ее форменного железнодорожного кителя. У нее было по две маленькие симпатичные звездочки на каждом рукаве.

– То, что я главный ревизор, – сказала она, надменно и холодно глядя мне прямо в глаза.

– А если одна звездочка?

– Это начальник поезда, – сказала она с тем же выражением надменного терпения.

– Значит, вы старше начальника поезда?

– Да.

– Наш старпом – писатель, – сказал моторист Сергей Сергеевич.

– Напьются, а потом отвечай за вас, – сказала она и сделала дырки в наших билетах.

Ей-богу, я никогда не видел такого интересного лица. Таких загадочных темных глаз, таких строгих, четких бровей, таких живых, вздрагивающих губ и такого тонкого, чистого овала всего лица.

Есть женщины красивые, но так сразу и ясно, что они дуры, или грубы, или развратны. А в этой была таинственность. И хотелось поверить ей себя навсегда и чтобы она поверила тебе себя. И сказала тебе когда-нибудь несколько ласковых слов, перестав быть официальным и главным ревизором поезда Лабытнанги – Сейда. И как ее занесло сюда, такую южную женщину?

– Вы очень красивая, – сказал я, принимая у нее обратно билеты.

Она ответила что-то вроде: «Не ваше дело», – и ушла.

И сразу, конечно, стало нам пусто и скучно. Никто даже не сказал ничего пошлого. Поговорили только о том, что нам выходить через три часа.

Скоро совсем стемнело, и за окном бежали по тундре ровные квадраты отблесков из вагонных окон. И даже столбов и проводов не было видно. Большинство наших заснули. Покачивалась в бутылках недопитая водка, качали копчеными хвостами жирные муксуны – закуска. А я почему-то думал о том же, о чем думал весь рейс от Ленинграда до самого Салехарда. О том, что в моей башке совершенно не появляются какие-нибудь умные новые мысли.

Я вытащил из чемодана книгу Т.А.Шумовского «Арабы и море» – книгу, полную мыслей и полную поэзии мысли. И читал старинные стихи под стук колес. Эти стихи написал поэт очень далеко от моей северной страны, на испанском языке. Он написал:

«Люблю тебя!» – она сказала.

"Ты лгунья! – ей ответил я. -

Кого слепая страсть связала,

Того обманет ложь твоя.

Велит мне ум седой и строгий

Не верить слову твоему:
Отшельник дряхлый и убогий
Уже не нужен никому.
Мне показалось – ты сказала
Пустым признанием твоим:
"Свободный ветер я связала,
И он остался недвижим.
Огонь несет с собою холод,
Пылая, движется вода".
Для шуток я уже немолод,
Я отшутился навсегда".

Я все повторял про себя последние строчки и смотрел в темень за окном. Поезд шел сквозь тундру, сквозь тундру. Где-то в этой холодной тьме провел многие годы Шумовский. Возможно, он укладывал на промерзший грунт те шпалы и рельсы, по которым сейчас шел наш поезд.

Раскидавшись, храпели на полках мои друзья.

Возможно, здесь Шумовский твердил про себя эти же строчки: «Огонь несет с собою холод, пылая, движется вода». И видел лицо лукавой женщины, которая способна сказать такие слова. И быть может, его мечта о такой женщине помогла ему выжить, а потом написать хорошие, умные книги.

Старинные стихи естественно и точно входят в его текст, в дебри арабистики. И автор так любит их, что сам переводит, не доверяя поэтам-переводчикам. И потому там попадаются слабые строки.

Я не ложился спать, потому что надеялся увидеть нашего ревизора. Ведь может же она пройти по вагонам еще раз. Я ждал ее и думал о том, как глупо все получается в моей жизни; что я одинок из-за того, что я однолюб; что небо, вероятно, никогда больше не пошлет мне любви. Я раскисал от тоски, и мне хотелось даже выдавить слезу, но она не выдавливалась. И тут, чтобы добить себя, я стал думать о том, что так никогда и не смогу стать профессиональным, настоящим писателем. Что я не умею читать хорошие книги и учиться по ним писать. Что я могу читать только как самый обыкновенный читатель и мне совершенно наплевать на то, кто и как развивает сюжет и строит композицию. Меня слишком увлекает хорошая книга, даже если я читаю ее в сотый раз. И вообще я никогда не был так счастлив в жизни, как бываю счастлив, открыв хорошую книгу или смотря прекрасную живопись. Такой полноты мироощущения, такого полного исчезания вопроса «Зачем живешь?» ничто другое не дает мне. И черт его знает, может, в этом и есть главный смысл искусства? Оно приобщает к самым глубоким тайнам мировой гармонии, снимает тоску беспредельности, которая с такой тупой силой иногда мешает жить. И тут пришла она.

– Кто старший морской команды? – спросила она устало.

Вагон сильно качало. Всегда качает, когда шпалы кладут на вечную мерзлоту.

– Будем считать, что я.

– Сколько вас, морских, едет?

– Присядьте – качает сильно. Хотите выпить?

– Заткнитесь, – попросила она без злости, даже доверительно. Ей было лет двадцать пять, не больше. Она казалась такой хрупкой среди узлов, чемоданов и спящих матросов.

– На Азию смотрит Европа, – сказал я, потому что уже здорово окосел.

– Я спрашиваю: сколько человек в команде?

– Тринадцать.

– Сколько едет в Ленинград?

– Девять.

– В Москву?

– Трое, и один в Архангельск.

– В Сейде идите в кассу со служебного входа. Я там буду ждать. Приказано прокомпостировать вам билеты без очереди.

По тому, как она крутила на пальце свои хитрые железнодорожные ключи, мне ясно было, что только служебный долг помогает ей разговаривать со мной спокойно.

– Спасибо. И не сердитесь. Ей-богу, мы хорошие ребята, – сказал я и посмотрел на своих ребят вокруг.

На соседней койке, положив седую голову на пакет с невыделанными оленьими шкурами, тяжело спал моторист Сергей Сергеевич, отставной лейтенант, разведчик, побывавший в Бухенвальде, – человек огромной порядочности, скромности, спокойствия.

Я вдруг обозлился. Иногда бывает полезно искренне обозлиться, чтобы привлечь к себе внимание женщины.

– Слушайте, Лена, Ольга, Инна или Аграфена, – сказал я. – Вы давайте-ка осторожнее на поворотах. Какое вам дело до того, что... На ваши деньги мы пьем? Вы, что ли, болтались с нами вместе от Архангельска до Салехарда?

И этот избитый прием сработал. Она почувствовала себя неудобно, сказала тихо:

– Меня Аня зовут, а не Аграфена, – и ушла.

А я все еще продолжал искренне на нее злиться. Я смотрел на Сергея Сергеевича и видел за морщинами его чисто промытого лица все то, что видели закрытые сейчас глаза нашего моториста. Сколько и чего они видели! Я все хотел точно вспомнить его рассказ о последней разведке, коротком бое и плене. Но я многое забыл. И я ругал себя за свою обычную и безграничную лень. Терпеть не могу что-нибудь записывать, а память начала, очевидно, слабеть. Раньше у меня была совершенно отчаянная память. И никогда я ничего не записывал. А теперь пришла пора записывать, но привычка полагаться на память осталась.

Я смотрел на спящего Сергея Сергеевича и уважал его седины, его морщины, его тяжелые рабочие руки, покойно лежащие на деревянной вагонной полке.

Когда я вижу, как в ночном трамвае дремлет рабочий человек, сложив на ватных штанах усталые грязные руки, мне всегда совестно бывает, что мои руки не такие. И мне всегда очень дорого бывает, если люди с такими руками относятся ко мне уважительно, и не считают меня чужим, и выполняют мой приказ без раздражения. А что поделаешь, если, в силу того что государство дало мне образование, пришлось много командовать. Я с двадцати трех лет принялся командовать. И должен сказать, что не зря за командирство платят деньги.

Я смотрел на Сергея Сергеевича и вспоминал, как в тяжелых, метровых снегах его взвод выходил из разведки. Как прижали их к реке, еще не замерзшей, черной, дымящейся паром. И Сергей Сергеевич приказал идти и плыть через реку, и приказал снять сапоги, и первый снял их.

Они перешли реку по броду, босые. И он приказал в лощинке развести костер, чтобы обсушиться, – мороз был двадцать градусов. И он знал, что немцы остались за рекой.

Они разложили костер и сунули в огонь свои черные ноги, когда с тыла пошли на них цепью немецкие автоматчики. И Сергей Сергеевич приказал бросать в огонь личные знаки и документы, а потом они еще постреляли немного в автоматчиков, но патроны у них кончились.

Потом их продержали в холодном сарае, без сапог, два дня и вывели, чтобы расстрелять. Построили и чего-то долго ждали.

– О чем вы тогда думали, Сергей Сергеевич? – спросил его я по идиотской писательской привычке.

Он курил, гладил себя по шее. У него не было воображения и была внутренняя честность. Он не мог соврать и придумать, а в то же время точно не помнил того, о чем он тогда думал. Но он вспомнил. Он сказал, тихо обрадовавшись тому, что вспомнил точно:

– Я думал, скорее бы, Виктор Викторович. Ноги ужасно болели. Уже никакого сознания от такой боли и не оставалось. Скорее бы, думаю, скорее стреляйте...

И тут прикатил какой-то русский – эсэсовец. Долго смотрел на пленных и приказал не стрелять, а отправить в лагерь. Так Сергей Сергеевич остался жить. Из плена он бежал.

В тяжелых, затяжных, оборонительных боях и в истерике лобовой атаки Сергей Сергеевич показал свое мужество и чистоту своей души. Его уже никто – до самой смерти – не упрекнет в трусости.

А что делать тем, у кого нет такого оправдания?

Быть может, именно потому сегодняшняя молодежь дерзит больше, чем это следует? Дерзить – не самое легкое дело на этом свете. За дерзость кое-чем приходится рисковать...

Я все чаще вспоминаю офицеров, которые преподавали нам в училище. Какой чистой совести были эти люди.

Я помню капитана третьего ранга Хватова. Он преподавал управление артиллерийским огнем. Безжалостно уничтожал он наши надежды на субботнее увольнение в город «гусьями», то есть двойками.

Черный, худошавый, желчный и очень талантливый. В прекрасно сидевшей на нем форме; с теми скупыми, точными и пластическими движениями рук, которые принято называть «аристократическими», хотя Хватов был так же далек от любой аристократии, как всплески наших залпов от цели; тяжело больной язвой желудка; прошедший от Сталинграда до Берлина на бронекатерах речных флотилий, штурмовавший Пинск, севший на мель под Пинском в пятидесяти метрах от немецких «тигров»; прыгавший через отмели на полных ходах вперед, когда сразу после «полного вперед» дается «полный назад» и волна, которую тянет за собой корабль, догоняет его и перекидывает через перекат, а иногда... не перекидывает...

Или преподаватель минного оружия, капитан второго ранга, фамилии которого не помню, весь дергающийся, девять раз подрывавшийся на минах и оставшийся жить, очень злой, часто несправедливый, мелочно-придирчиво требовательный. И его: «В минном деле, как нигде, вся загвоздка – в щеколде». Потом, когда уже на флоте мне пришлось столкнуться с минами, взрывпакетами и прочими штуками, я понял, как его придирчивость воспитывала в нас элементарную верность жизни.

И прекрасно помню нашего комиссара по фамилии Комиссаров и политработника майора Ломакина. Это были настоящие комиссары, которые теперь знакомы молодежи только по книгам. Большевики, гуманисты, вникатели чужих судеб, отцы матросов, больные и израненные, спокойные и опытные.

Я опять отвлекся, но не корю себя. Если кто-нибудь ждал от этих записок сюжетных рассказов, он давно уже обманулся в своих ожиданиях.

Мой рейс закончился. Следовало подводить итоги. Но дорога еще продолжалась.

Не помню, кто из великих мира сего сказал, что Зевса создал народ, а Фидий всего лишь воплотил Зевса в мраморе.

Я смотрел на спящих вокруг товарищей. И знал, что у одного из них возьму те смешные слова и присказки, которые прямо вываливаются из него. Другой подарит мне свою биографию. А третий не даст врать чересчур, потому что я буду совеститься перед ним. И все то, что я напишу в конце концов, отдали мне те люди, с которыми судьба сводила меня.

До Сейды оставалось полтора часа, и спать не было смысла. И я опять листал книгу Шумовского, выискивая кусочки стихов. По-моему, нельзя читать стихи в большом количестве. Я люблю отдельные, самые хорошие строчки, которые попадают в виде цитат среди книг прозы. Они укладываются в мозг и в душе навсегда.

Я читал:

Пускай там дерутся слепые
Цари за кусочки земли,
Мы наших владений границей
Безбрежность морей обвели!

2

От поезда Воркута – Москва уже сильно пахнет цивилизацией. Здесь есть купированные вагоны и ресторан. И в отблесках света за окном уже видны стали березки. Но нам было не до них – мы рухнули в чистые простыни и уснули.

...Аня сидела у меня в ногах и трясла за плечо, когда я наконец проснулся. Шел третий час ночи. И первое, что я подумал, было – не набедакурили ли матросы?

– Вы ко мне хорошо относитесь? – спросила она, убедившись, что я проснулся. Она была вся синяя от ночного света, берет держала в руках, волосы ее растрепались.

– Что надо делать?

– Вставайте и возьмите кого-нибудь из друзей. Мне тут не справиться одной... Такая история! Пожалуйста!

Я поднял Бориса Киселева, и мы оделись. Она ждала в коридоре. Борису я сказал:

– Похоже, пахнет уголовщиной. Нужны понятия.

Он не стал ничего уточнять. Мы закурили и вышли из купе.

– Надо обыскать состав, – сказала Аня.

– Откуда начнем? – спросил Борис так, как будто он с самого детства занимался такими делами, и зевнул в кулак.

– Объясните все-таки, что происходит? – попросил я.

Поезд гремел во тьме между Воркутой и Котласом. Казалось, поезд все время летит под уклон. Так мы куда-то торопились.

– Пропали бригадир и проводница из четвертого вагона.

– Начнем с хвоста, – почему-то решил Борис. Было видно, что он совершенно невыносимо хочет спать.

– А куда мог пропасть бригадир? – спросил я.

– Он скрывается от меня.

– Минуточку! – сказал Борис, нырнул в купе и вынырнул с яблоком. – Подкрепитесь, главный ревизор.

Она машинально взяла яблоко и пошла по вагону.

Качаясь на переходных площадках, оглушенный гулом колес, ветром и хлопаньем дверей, я орал в ее маленькое ухо деловые вопросы:

– Почему он скрывается?

– Он... спал с проводницей. Я их накрыла.

– Это... очень большое преступление?

– В служебное время! – воскликнула она. – И это еще не все!

Я пожал плечами. Черт его знает. Если штурман на вахте будет развлекаться с поварихой, судно далеко не уплывет. Только очень уж не женское дело заниматься такими расследованиями.

Мы миновали общий вагон, ныряя под голые сонные пятки, торчащие с полок, и оказались в хвостовом вагоне. Здесь я взял ее за локоть и попросил объяснить суть до конца.

– Он был с одной, а, когда я акт составляла, сказал мне фамилию другой... Я же их всех в лицо знать не могу... И я в акт вписала другую фамилию, невинную... Акт в Москву придет, эту другую вызовут, позорить начнут, а она женщина больная, порядочная... Вот он какой подлец, понимаете? Он прячется; мне в Котласе сходить, а без него акт переписать нельзя... И девушка прячется – та, настоящая... Молоденькая, студентка, кажется, подрабатывает на практике проводницей... А он старый, два раза женатый, трем детям алименты платит... Поймать его надо до остановки, а то сойдет, отстанет и потом скорым в Вологде догонит, а меня уже не будет... – Ей-богу, Аня чуть не плакала.

И мы пошли обратно по вагонам, опрашивая проводниц и проводников, но все говорили, что вообще не видели бригадира. И когда мы проходили наш вагон, то Борис исчез. Детектив не увлек его.

Двери вагона-ресторана на стук не открывали очень долго. Наконец появился парень лет двадцати в белой куртке. Он с большой неохотой и наглой неторопливостью отпер двери, и мы прошли в ресторан.

На сдвинутых стульях, посередине салона, спал пьяный пожилой мужчина.

Качались шторы, позвякивали бутылки в ящиках. Замусоренный пол и грязные скатерти были беспощадно освещены ярким электрическим светом.

Еще один парень в белой куртке и с перебитым носом появился откуда-то. Аня приказала ему открыть кухню.

– Покажите ваш спецдопуск, – ласково попросил парень.

Аня энергично отпихнула кривоносого и открыла дверь в кухню своим ключом. Парни поглядели на меня и отошли в сторону. Я поблагодарил Бога за то, что не надел флотской фуражки. Сейчас они принимали меня за оперуполномоченного. Я курил и делал непроницаемый, зловещий, профессиональный вид. Пока это помогало.

– Ага! – сказала Аня. – Хорошенькое дело! На кухне! Ночью! Посторонние! А потом людей заразой кормят!.. Вылезай.

На кухне за баком-кипятильником пряталась бледная девушка в красном пальто и красной фетровой шапочке с бантиком и брошкой. Она не подняла глаз на нас, стояла, прижавшись к стене спиной, и глядела под ноги.

– Вылезай! – опять приказала Аня. Совсем она была сейчас беспощадная. А мне почему-то было неудобно и стыдно.

– Не выйду, – одними губами сказала девушка и сунула руки в карманы красного пальто.

– Еще как выйдешь, голубушка! – сказала Аня.

И девушка двинулась из кухни вызывающей женской походкой, виляя бедрами и не вынимая рук из карманов.

– Со стариком спала – не стыдно было, а теперь глаза тупишь, – сказала Аня, этими словами как бы стараясь поддержать в себе необходимую беспощадность.

Я открыл дверь из ресторана перед девушкой.

– Я с бригадиром не спала, я только рядом лежала, – медленно и угрюмо и как-то задумчиво сказала обвиняемая, проходя мимо.

– То-то они полчаса купе не открывали, – сказала Аня уже для меня.

– Я одетая была, вы сами видели, – сказала девушка и остановилась в тамбуре, оглянувшись в еще не захлопнувшиеся двери ресторана. И я заметил, что парни и она успели обменяться каким-то значительным взглядом. «Не здесь ли и бригадир?» – подумалось мне.

– Я вас попрошу с ней побыть, – сказала Аня. – А я за милиционером схожу. Он на этом перегоне подсесть должен. Теперь еще и с рестораном разбираться придется.

– Хорошо, – сказал я. – Побуду. – Мне все-таки хотелось узнать, чем все это кончится.

Аня ушла; я остался с девушкой в красном пальто среди шума вагонного тамбура.

Она опять прислонилась спиной к стене и все не вынимала рук из карманов. И в этой позе было презрение и презрительное терпение. Она молчала непроницаемо и, по-моему, без большого напряжения.

Поезд сбавил ход, мелькнули и пропали за окном двери огоньки стрелок, гроыхнули колеса на стыках. И опять увлекающе загудел паровоз, наращивая свой бег в глухой северной ночи.

Минута тянулась за минутой, я не выдержал паузы, спросил:

– Где бригадир?

– Не знаю.

– Знаете.

– Докажите, – сказала она лениво и нахально.

Она также принимала меня за определенного сотрудника. И она, кажется, уже имела опыт разговора с ними. Имеющие такой опыт не торопятся отвечать. И еще было в ней что-то такое, что тревожило меня. «Чего я-то ввязался? – думал я. – На кой черт это нужно? Воюю пока что с двадцатилетней девчонкой...»

Бывают такие странные девицы, они годами поступают в жизни совершенно импульсивно и, когда вдруг грянет гром, с огромным изумлением оглядываются вокруг. Где они? Куда занесла их судьба? И как теперь отсюда выйти? И ужас залезает им в души, ибо ранее инстинкт до такой степени превосходил в них разум, что и жили-то они, как бы совершенно не осознавая окружающего. И вдруг проснулись в кровати старика и к вечеру, проглотив пакетик люминала, спят уже в больнице, а к следующему утру лежат в морге. Такие обычно плохо учатся, и подруг у них мало, и они до смерти любят сладкое, рано физически зреют и производят впечатление очень спокойных, устойчивых в психическом смысле девушек. Они могут совершить героический подвиг – спасти из пожара ребенка, например. И не заметить этого подвига. Удивленно глядеть на тех, кто хвалит за него. И вдруг понять совершенное ими же недавно в огне, заново пережить страх и заболеть от него. Я стал думать, что эта девушка такая, что ее обманул бригадир, посулил интересное путешествие, развлечение, посадил на ступеньку вагона, и она поехала, даже не позвонив в свое общежитие по телефону...

Вернулась наконец Аня с милиционером – добродушным огромным украинцем. И все мы прошли в служебное купе. Было четыре часа двадцать минут ночи по местному времени.

Девушку усадили к окну, и милиционер задал ей несколько вопросов: из какого она вагона, давно ли ездит с бригадой, откуда сама?

Она молчала и глядела в потолок.

Милиционер совсем не сердился. Он-то знал, что все на свете суeta и все, что надо, девушка рано или поздно скажет.

Тут ворвалась в купе старая, страшная неврастеничка проводница. Она кошкой метнулась к девушке и успела вцепиться той в волосы. Мы с милиционером ухватили проводницу за руки, но разжали их не сразу.

По изможденному лицу проводницы текли слезы злобы. Она вырывалась, кусалась и причитала. Именно ее бригадир выдал за свою ночную спутницу, и ей грозил срам и позор по прибытии в Москву. Я не мог не подумать о том, что исчезнувший бригадир не лишен юмора. Он мог легко доказать невозможность своего грехопадения с проводницей, фамилию которой он вписал в акт, – она была невинна уже много лет, и это не вызывало сомнений. Тяжелая одинокая жизнь перепачкала ее лицо, и тело, и душу. Типичный представитель коммунальной квартиры, из-за которого десятки людей не живут, а тонут в трясине истерик, провокаций, злобной мстительности, зависти и всех других человеческих пороков. Но если заглянуть в нутро такой женщине, которая работает тридцать лет проводником в общем вагоне поезда Воркута – Москва, если посчитать ее беды и горести, и погибших ее родных, и так далее, то простишь ей почти все.

Она затихла в наших руках, схватилась за сердце, сникла, сказала:

– Доктора на соседнюю станцию вызывайте, доктора!.. Укол!..

Мы уложили ее. Незаслуженно брошенное подозрение в распутстве могло привести ее на тот свет. И это было уже не смешно. Но что тут будешь делать?

– Ах ты дрянь! Низкая ты девчонка! Из-за тебя человек помрет! – кричала Аня на девушку в красном пальто.

– А я при чем? – наконец открыла та рот.

– Твой хахаль ее фамилию вместо твоей вписал! Ты что, не слышала? Теперь скажешь, что не знаешь? Ничего! Ничего! Ты еще стыдом по уши умоешься! Еще на открытом собрании тебя из студентов исключать будут! Тебя спрашивают! Где бригадир? С какого сама вагона?

– Я не проводница, – сказала девушка и расстегнула пальто. – Я так еду, обыкновенно...

– Где вещи? – сразу заинтересовался милиционер и перестал поливать проводницу водой из графина.

– В ресторане, у рабочих с кухни, – прошептала девушка.

– Где села? – быстро спросил опять милиционер.

– В Воркуте.

– В какой кассе билет брала? Ну, тебя спрашивают! В правой или левой?

– Не помню...

– Ага, – сказал милиционер. – На улице касса или в вокзале?

– Не помню... Я не сама билет брала. Мне брали.

– А почему проводницы тебя запомнили, когда еще из Москвы ехали?

– Я из Москвы этим же поездом ехала.

– И сразу назад? День побыла, за тридевять земель съездила, и назад сразу?

– У меня там деньги украли.

– Зачем ездила?

– В отпуск.

– Какие вещи в ресторане, как они выглядят? – спросил и я, вспомнив, что отец был следователем.

– Чемодан черный.

– Сходите с ней за вещами, – сказал мне милиционер. – А я до машиниста доберусь. Как бы старуха дуба не врезала.

– Идемте! – сказал я девушке.

– Я их боюсь, – сказала она, опять став флегматичной и теряя интерес к происходящему.

– Надо, – сказал я. И мы пошли. – Вы на самом деле студентка? – спросил я.

– Да.

– А где билет?

– Нет билета, вру я все, – сказала она. – Меня ссадят?

– Похоже на то, – согласился я.

Дверь вагона-ресторана оказалась опять закрытой. Я постучал сильно и властно. Открыл тип с перебитым носом.

– Только работать мешаєте, – пробормотал он.

– Черный чемодан – живо! – сказал я.

– Какой чемодан? – спросил он.

– Мой, – тихо сказала девушка.

Он фыркнул и вынес чемодан, поставил его и ушел на кухню. Девушка глянула на чемодан и начала бледнеть. Она глядела на открытый замок. Один замок был закрыт, а другой отскочил. Она взяла чемодан за ручку и приподняла его. Господи, какой страх, какое отчаяние отразились на ее лице.

– Там совсем пусто, – пролепетала она.

– Скажите, что там было?

– Туфли были, кофточка, юбка шелковая... – перечисляла она, бросаясь возле чемодана на колени, открывая его, копошась в тряпках. – Поверьте! Господи! Какие мерзавцы! Какие мерзавцы! И сапожек нет!

– Здешние парни? – спросил я, тряся ее за плечо, потому что она уже ни на что, кроме своего чемодана, не обращала внимания. – Здешние?

– Никто другой не мог!

– А бригадир где?

– Не знаю! – Теперь она не врала.

– Тащи за мной чемодан, – сказал я и вошел в салон ресторана. Уходить отсюда было нельзя. Надо было следить за этой шпаной. Но кто им мешал давно переправить вещи в другой вагон? И кто им мешал в крайнем случае выкинуть их в окно, если бы они серьезно опасались обыска? Но они знали, что девушка сама задержанная, ей не поверят и вряд ли будут тратить время на розыски ее шмукток. Они все это знали точно. И этим были еще омерзительнее.

Я попытался разбудить спящего на стульях мужчину. Это оказалось безнадежным делом.

Тогда я сказал парням, что сейчас в поезд сядет опергруппа. И что, если они хотят кончить дело в тишине, пускай вернут вещи.

– Вы ее больше слушайте! – сказал парень с перебитым носом. – Разве таким верить можно?

И он говорил правду. Никто, кроме, пожалуй, меня, ей ни в чем бы не поверил теперь. Теперь следовало не верить, а проверять, тщательно и длинно.

– Какие мерзавцы! Какие вы мерзавцы! – все повторяла она. Пожалуй, еще раньше они получили с нее что-то вроде натурной платы за укрытие.

Я взял ее чемодан и повел в служебное купе. Теперь она не совала руки в карманы и не виляла бедрами. И в первом же тамбуре разрыдалась судорожно и безнадежно.

– Отец есть? – спросил я, чтобы отвлечь ее.

– Нет, – рыдала она. – Нет, нет, нет...

– Не реви, – пробовал утешить я. – Вещи найдутся обязательно. За этим я прослежу...

– В тюрьму бы лучше, чем это! – сказала она, кивнув на двери вагона, в котором помещалось служебное купе.

– Зачем ты ездила в Воркуту? – спросил я. Я знал, что только без свидетелей она может выдавить из себя хоть миллиграмм правды.

– К отцу, – сказала она.

– Ты только что сказала, что его нет.

– Я ездила искать его... Он где-то там... И у меня украли деньги, честное слово!

– Тебе хватило бы на билет, если продать шмуктки... И зачем тебе было нужно так много вещей? И зачем тебе надо было путаться с бригадиром?

– Я с ним не путалась. Он хотел, но я нет. Лучше в тюрьму, чем это.

Больше она не говорила. Правда, ее больше ни о чем и не спрашивали. Ее ссадили на первой остановке и занялись пломбированием ресторана, а я пошел спать. Но мне муторно было на душе и потому не спалось. Черт его знает, что я должен был сделать, кому помогать, кому верить и за кого вступаться. И я думал о том, как все быстро и безнадежно запутывается, если даже один человек один раз солжет другим людям. Какая тут начинается феерическая неразбериха!

Уже светало, когда заглянула Аня. Она стала неинтересной мне, но я шепотом, чтобы не разбудить Бориса и других моих попутчиков, спросил о девушке и предложил Ане чай.

Вещи оказались выброшенными из поезда, их подобрали обходчики. Улик против парней из ресторана не было. Бригадир ждало возмездие. Директора ресторана тоже. И Аня была довольна. Она выполнила свой долг главного ревизора. А в чем был мой долг?

– Чего ради вы меня-то впутали в эту историю? – спросил я.

– Вы же писатель, – сказала она. – Мне моряки точно объяснили, что вы писатель. Мне ваша песенка из «Пути к причалу» нравится.

– Я к этой песенке не имею никакого отношения, – сказал я. – И при чем здесь то, что я писатель?

– Вам бы мне отказать стыдно было. Не каждого ночью из постели вытащишь.

– Что сделают с девушкой? – спросил я.

– Вернут вещи, сообщат на работу или в техникум и отправят на все четыре стороны... Мало ее наказывали в детстве. У нас строже, – сказала Аня.

– Где у вас?

– В Осетии. У нас много еще осталось старого. У нас и пережитки есть. Меня первый муж украл, похитил. В горы увез. Прямо с экзаменов в десятом классе. Только через три года я от него удрать смогла... А здесь уж восьмой год живу. Муж у меня военный летчик. И сыну восемь. Хотите, карточку покажу? – И она показала мне карточку доброго круглолицего русского парня в военной форме. И карточку сынишки.

Мне уже хватало впечатлений.

Я рад был, когда показались пригороды Котласа и Аня ушла.

Пожалуй, я впервые почувствовал, что здорово устал за рейс. Дороги требуют напряжения, даже когда не попадаешь в большие шторма.

На верхней койке посапывал капитан с нашего каравана Ижов, очень обходительный, сильно пожилой человек, начавший плавать чем-то ниже юнги еще в середине двадцатых годов. Он проснулся, когда хлопнула дверь за Аней, протер глаза, свесился с полки, глотнул пива из горлышка, сказал:

– Доброе утро, Виктор Викторович! Как спали?

– Хорошо, – сказал я.

– А мне сейчас бабушка снилась, – сказал капитан Ижов. – У моей бабушки было имение недалеко от лермонтовских Тархан. И однажды великий князь приехал – бабушка хотела имение продать. Так вот, князь посмотрел и покупать отказался. Сказал, что такого имения нет у самого царя и ему, великому князю, оно тоже потому не пристало. И сейчас мне бабушка приснилась.

– Трогательно, – сказал я.

– Бабушка умерла в Швейцарии, – сказал Ижов.

– Еще несколько лет назад о таких вещах молчали в тряпочку, – сказал я.

– Я тоже молчал, – согласился Ижов. – Я прожил трудовую жизнь от киля и до клотика. И хотя мог удрать к бабушке тысячу раз, даже не думал об этом никогда... А теперь жаль стало старушку – одиноко ей помирать было... Внизу есть еще пиво?

Я подал ему бутылку.

– А знаете, какое мне первое поручение было, когда я первый раз на судно пришел? – спросил он, пускаясь в воспоминания. – Гуся капитан приказал отнести его любовнице. Это же в голодные годы было. И вот я марширую по Питеру с гусем, а гусь возле Казанского собора от меня драпанул...

Но это я слышал уже сквозь сон. Сложности российской жизни сморили меня окончательно.

3

Была тьма и осенняя слякоть в Ленинграде, когда мы вышли из вокзала к стоянке такси, отягченные авоськами с копченым муксуном. Муксун ехал к нашим домашним. Он провисел всю дорогу за окнами вагонов и прокоптился еще больше паровозным дымом.

Разбираясь с машинами и выясняя, кто куда едет, мы как-то даже и не попросились толком, хотя здорово привыкли друг к другу за перегон.

У меня было паршивое настроение. Не люблю я появляться домой под утро. И недавняя история с девушкой в красном пальто все не отпускала меня. Я думал о том, что мои попытки вмешательства в жизнь всегда бессмысленны и незакончены, как и эта. Хорошо, что я хоть теперь понимаю это, признался в этом.

Я ехал по пустынному ночному Ленинграду, курил, сидя на заднем сиденье машины, и не мог отделаться от строчек Маяковского, которые бесконечно повторялись в голове: «Море уходит вспять... море уходит спать... море уходит вспять... море уходит спать...» Неужели все люди страдают от таких идиотских штук?..

На пустынном Невском слабо блестели лужи. Моя дорога заканчивалась. Позади остался обычный, спокойный – без происшествий и приключений – перегонный рейс. Наш СТ-760 сейчас торопился за целинным хлебом по огромной реке к Алтаю, туда, где Бия и Катунь, сливаясь, дают начало Оби, а может быть, наш СТ-760 свернет в Иртыш, воды которого катятся к Карскому морю от самой китайской границы. СТ-760 повидаёт Новосибирск и Омск, Томск и Тюмень, Тобольск и Барнаул. Мы привели его в привольные места. И сделали это хорошо, без аварий и лишних затрат. Приятно, когда работа сделана хорошо. В этом есть утешительное.

Такси выехало к Неве, и у поворота к площади Труда я увидел свою родную набережную. Она пряталась в ранних утренних сумерках за мостом Лейтенанта Шмидта.

Вот круг и замкнулся. Привет тебе, набережная Лейтенанта Шмидта! Рано или поздно, по воде или по суше – я возвращаюсь к тебе. И хорошо бы сейчас выпить с тобой, но мама не любит, когда от меня пахнет при возвращении.

Я видел возле набережной низкие силуэты спящих судов. Это были такие же, как и наши, самоходки. Они стояли в несколько рядов, носом к мостам. И ждали, когда их поведут в Салехард, на Енисей, Колыму или на Лену.

Новый год у набережной Лейтенанта Шмидта

В здании ЮНЕСКО в Париже есть фреска Пикассо. На фреске есть знаменитая фигура человека, летящего вниз головой. Я спросил Пикассо, что это означает.

– Искусствоведы исписали тонны бумаги, объясняя символику этой фигуры. Одни говорят, что это падение Икара. Другие – низвержение Люцифера с небес.

Пикассо наклонился и вполголоса закончил:

– Только между нами, Кусто: я просто хотел изобразить ныряльщика.

Жак Ив Кусто. Живое море

Первый и последний раз я изображал низвержение Люцифера в трехболтовом скафандре на Кольском заливе. Офицеры плавсостава спасательной службы должны были нырнуть метров на двенадцать, найти на грунте белую эмалированную кружку и вынырнуть.

Я рвался за борт со всем пылом двадцати двух лет, хотя водолазное белье было липким от подводного трудового пота, шерстяная шапочка пришлось бы впору Сократу, а ватные брюки доставали до подмышек.

Мороз стоял возле двадцати, а вода минус один. Туман и слабый снег. Отливное течение и мелкие льдины.

Здоровенные водолазы-костюмеры встряхнули меня в скафандр, который прозаически называется «рубахой». Я скользнул в рубаху юркой килькой, остря напропалую, и заметил запах гроба. Резиновый, с отделениями для рук и ног, но гроб.

Потом были надеты свинцовые ботинки и свинцовые груза, отлитые в форме сердца мамонта. Потом было неэстетично: толстые веревки пропускают между ног и обтягивают веревками груза – в шесть рук, упираясь тебе в зад коленками. Несмотря на шерстяное белье, ватные брюки и резину рубахи, кажется, веревки разрезают тебя пополам. И подозреваешь: ребята стараются специально, чтобы поучить новичка. Но это ерунда – так нужно: под водой воздух будет раздувать скафандр, веревки ослабнут, и груза могут сместиться.

Потом на плечи был возложен шлем, отскрипели свое болты и лицевой иллюминатор, зашипел воздух, шевельнулась чешуя резины, и было предложено шагать к трапу. На пути меня ласково поддержали, а у кормы развернули спиной к воде.

Сто килограммов свинца и меди гнули хребет в дугу.

За борт полетела кружка – с камнем, чтобы не очень далеко отнесло течением. И – бах! – руководитель спуска гаечным ключом стукнул по меди шлема – пошел, лейтенант!

Тяжесть исчезла, как только я погрузился до шлема. Я обрадовался и бодро завертел головой, раздуваясь, как лягушка.

– Травите воздух! Так вас и так! – заорали мне в телефон.

Тут я сконфузился, потому что вспомнил: следует не плавать в черной воде и не разглядывать снежинки, прилипающие к стеклу иллюминатора, а тонуть.

С поспешностью надавил затылком клапан и – уть! – утюгом провалился в холодную жижу. Уши схватило болью. И я порвал бы себе перепонки, если бы меня не задержали страховочным концом. Перед самыми глазами оказался винт родного корабля, и я уставился на него с удивлением и тревогой. А вдруг он возьмет и повернется? Нелепая, козья мысль, но...

– На грунте? Кружку видите?

– Хочу немного повисеть, – сказал я. – Уши.

– Время идет! – напомнили мне.

– Течение, – сказал я.

– А грунт хотя бы видите?

Я почему-то боялся смотреть вниз. И боль в ушах слепила глаза.

Бах! Вокруг взметнулось и закружилось зелено-мутное, смерчеобразное.

– Ай! – сказал я, обнаружив себя стоящим на дне. Облако мути удалялось по течению мрачным привидением. Вокруг валялись бутылки. И где только их нет!

– А кружки нет, – сказал я. – Только стеклянная посуда.

– Ищите!

Где искать – впереди, позади, справа, слева?

Я задрал голову и посмотрел наверх. Это было единственное прекрасное мгновение. Я был космонавтом, покинувшим космический корабль на Венере. Корабль парил надо мной, маленький, далекий, мутный, странный. Гайдропом с него свисала якорная цепь.

Я наконец сообразил, где нос, где корма, откуда выбросили кружку, и шагов через двадцать увидел – белым зайчонком мерцала кружка среди старых тросов. Мне было известно, что нагибаться нельзя – всплывешь на поверхность вверх ногами.

Воздух радостно булькал, вырываясь из скафандра. Я по всем правилам наклонно опускался.

Холод струйкой пробежал по спине, впился в поясницу, повел судорогой ногу.

– В посту! – крикнул я.

– Есть в посту! Что у вас?

– Меня, кажется, заливает! Очень холодно!

– Стравливаете много воздуха. Вода обжимает резину и холодит через нее. Выполняйте задание!

И я продолжал выполнять. Холод подошел к соскам и сжал мокрой ледяной лапой сердце.

Но я уже видел эту чертову кружку перед самым носом. Протянул руку – и схватил пустоту. До нее было еще метра полтора.

От холода я забыл, что иллюминатор увеличивает и приближает предметы. Ползком добрался к кружке и прекратил стравливать воздух. Холод стал отступать, но с сердцем творилось что-то неладное. Шапочка сползла на глаза, из носа полило, слабость до тошноты и нарастающая опять боль в ушах.

Подняться по трапу я не смог. Водолазы вытащили, как говорится на их языке, «за уши». Я плюхнулся на ближайший кнехт. Когда круглая гробовая крышка иллюминатора отпала, из шлема ударил пар, как из паровоза.

Скафандр был полон воды...

Водолазы встревожились и потащили меня в пост на руках.

Оказалось, что в аварийном клапане потекла прокладка. Когда я перетравил воздух на грунте, вода затопила мой гроб до самого шлема. Температура воды была минус один, и сердцу это не понравилось. И вообще только два-три сантиметра – расстояние от подбородка до рта и носа – отделяло меня от того света, от того, чтобы стать мокрым Икаром и убедить искусствоведов в том, что они не всегда ошибаются, истолковывая фрески Пикассо.

В ноябре шестьдесят пятого года возле набережной Лейтенанта Шмидта ошвартовался старый буксир. Неученые моряки передавали его ученым-океанографам из лаборатории глубоководных исследований Гидрометеорологического института. Меня приглашали на буксир старшим помощником. Но при одном условии: изучать акваланг, подводную связь и ходить на тренировки в бассейн. Условие было омерзительное, ибо будило дурные воспоминания, но делать было нечего. Я как раз переживал очередной творческий кризис. Как теперь понимаю, во мне начинался бой между образным и необразным мышлением. Я все чаще ловил себя на неискренности. И подумал, что, быть может, путь к искренности лежит через науку.

Тем более много раз в жизни мне приходили гениальные необразные мысли. Они даже потрясли меня, я не спал ночей от восторга открытий.

Некоторая трагедия моих необразных мыслей заключалась только в том, что, читая потом книги, написанные иногда тысячи лет назад, я с раздражением и разочарованием обнаруживал у своих открытий бороду. Даже если это не борода, а щетина – обидно. Вот пример. Одно время

я занимался проблемой скорости света. Меня бесила цифра 300 000 километров в секунду. Для света это предел и для меня предел, но почему нечто не способно двигаться быстрее?

Мне сразу надо было вбить заявочный столб, а я промедлил. И пожалуйста: уже другим теоретически предсказаны тахионы – частицы со скоростью больше световой.

Конечно, испытываешь некоторое сомнение, когда занимаешься вопросами теоретической физики, не зная, что такое эрг. И старомодные люди не занимаются. Но мне шел семнадцатый, когда бабахнула атомная бомба. Римский папа издал нечто вроде указа о конце мира, и по планете потекли слухи, что цепная реакция продолжается. Япония разложилась на протоны и электроны, и через недельку все это перевалит Урал.

Мы сидели в казарме и надеялись, что в связи с близким концом света всех уволят домой до понедельника и строевые занятия не состоятся. Так я впервые узнал о теории относительности.

Видите, о сложнейшей теории я узнал строгим классическим путем – из практики. Потому, вероятно, мне ничего не стоит цитировать Эйнштейна или Планка, хотя я давно забыл, что такое эрг.

О теории относительности я читал раз пятьдесят. Тайна физической картины мироздания тянет, как край бездны. И когда ныне я читаю Планка или Эйнштейна, мне кажется, что я уже кое-что понимаю. И я даже испытываю наслаждение, и оно иногда пронзительнее, таинственнее и шире, чем от знакомства с прекрасным в искусстве и в жизни.

Парадокс в том, что стоит закрыть книгу, как наслаждение исчезает и я уже не способен объяснить понятое мною другому человеку. Понятое выскальзывает из головы со скоростью света или даже тахионов.

Надеясь на бабушкины предания, я укладывал Эйнштейна на ночь под подушку. Черт знает, думал я, быть может, бабушки не так глупы. Вдруг буквы шрифта испускают некие лучи, и мозг к утру впитает мудрость напечатанных слов. Не помогло.

И вот я решил пожить и поплавать с людьми науки, узнать, каким образом профессионалы закрепляют знания. И согласился обучаться нырянию с аквалангом, практике декомпрессии, языку немых на пальцах. «Все хорошо!» – бублик из указательного и большого. «Плохо внутри!» – кулак. «Плохо снаружи!» – растопыренные пальцы, и т. д.

Правда, не только общение с учеными привлекало меня на буксир, который носил гордое имя сына Океана и Земли – «Нерей».

Летом намечалась экспедиция в Средиземное море, в Монако – в гости к знаменитому изобретателю акваланга капитану Кусто.

И еще мне было предложено написать сценарий фильма «Человек и море».

«Нерей» вмерз в лед у ржавого понтона возле набережной Лейтенанта Шмидта и заснул до весны.

На понтоне построили деревянную будку, обернули ее брезентами и завалили снегом. В будке стал жить пес Анчар. Его хозяевами были сотрудники лаборатории подводных исследований. Анчар много раз путешествовал с ними на Каспий и Черное море, охранял хозяйство аквалангистов и кусал чужих без разбора и молча. Иногда кусал и своих. Никогда не кусал одного – Володю Бурнашева. Бурнашев сконструировал псу специальную маску и выучил нырять с аквалангом. Еще Бурнашев отличался от других тем, что не ел рыбу и не пил чай. Рыб он считал братьями нашими меньшими, а чай не пил, потому что происходил с Волги, из Нижнего Новгорода, и считал, что его предки уже выпили все отпущенное роду количество чая.

Вот Володя и привел Анчара на понтон возле «Нерея», посадил на цепь.

Зима выпала суровая, а пес был стар. Ему было холодно и не хватало хорошей еды. После сложных разговоров с директором ресторана речного пассажирского теплохода «Александр Попов», который зимовал выше нас по Неве, Анчар начал получать из ресторана объедки.

Объедки носили молодые океанографы, которые служили до весны на судне простыми матросами. В ночные вахты они сидели в кают-компании, готовились к аспирантурам и диссертациям. Когда Анчар начинал грохотать простуженным басом, ребята вылезали к трапу.

Анчар был очень большой собакой, имел вид устрашающий. Его седая морда казалась перекошенной, потому что левый край верхней губы низко свисал.

Я радовался, что быстро подружился с Анчаром. Все мы любим, чтобы животные относились к нам хорошо, любим хвастаться этим. Я несколько раз поделился с ним домашним завтраком, а потом набрался смелости и подошел прямо к будке – у Анчара запуталась цепь. Я раскрутил ее. Пес рычал, но не кусал меня. И потом уже не лаял, когда я появлялся у трапа.

Океанографы были смешными матросами, хоть старательными и честными в службе. Им, например, не приходило в голову, что если ты подменился на вахте и ушел на танцы, то об этом надо сообщить старшему помощнику.

Однажды я выбрался проверить вахтенного и увидел незнакомого юношу в очках.

– Кто вы такой? – спросил я.

– Я Лесман, – ответил он, заикаясь.

– А что такое «Лесман»?

– Это я...

– Идите с борта к чертовой матери в таком случае, – сказал я.

– Я н-не могу: я вахтенный матрос, – сказал он. – Я друг Бурнашева.

Эта зима вообще была странная. Я впервые зимовал возле родной набережной Лейтенанта Шмидта.

Знакомые приходили, чтобы скрасить длинные суточные вахты. Сухопутным знакомым нравилось сидеть в каюте на судне, видеть толстый слой изморози на иллюминаторе, слышать слабое биение сердца впавшего в летаргию корабля – работал только котелок на мазуте и какой-то насос.

По корме летучими голландцами маячили обросшие инеем парусники. Анархист «Кропоткин» чуть не упирался бушпритом нам в кормовой кранец. Огни парусников светили, окруженные ореолом в морозном тумане. Близкий город исчезал совершенно.

И гостям хорошо было пить чай из термоса, слушать разговоры о легендарной «Калипсо», капитане Кусто, клетках-убежищах от акул, споры о том, кусаются акулы или все это выдумки, и уверенные мечтания о том, что летом «Нерей» снимется в далекое плавание.

Солнце Лазурного Берега уже слепило нам глаза, отражаясь от величественных стен Океанографического музея в Монако. Над лазурным Лигурийским морем, крепко ухватив каменный штурвал, в зюйдвестке и каменном плаще стоял принц Альберт – моряк, ученый, защитник морской фауны... Вечнозеленые кустарники, пальмы, аллеи мандариновых деревьев с оранжевыми шариками плодов... Яхты миллионеров у причала Королевского яхт-клуба... Казино... Рулетка...

Гости «Нерея» от таких видений и разговоров приходили в возбуждение, читали стихи, на которые вдохновил поэта лейтенант Шмидт:

Придается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,

И сводишь, и сводишь на нет...

Хорошо было в ту зиму ожидать весны, хотя морозы были сильные, приходилось повышать давление пара в магистралях отопления и подпольно ставить электрогрелки. Буксир был запущенным судном, магистрали лопались, то и дело затапливало радиорубку или каюты. Нужно было наводить бандажи и цементировать дыры.

И надрывал мне душу Анчар своим кашлем, когда вылезал из будки и смотрел на меня сквозь морозный туман.

«Вот, ты в тепле сидишь, только нос и высываешь. Домой на такси едешь, а я тут сижу, – говорил он мне. – А я стар и одинок, и не видеть мне больше радости, потому что жизнь моя позади».

И я вспоминал строчки из ледяной, метельной книги Дугласа Маусона «Родина снежных бурь»: «Заболевший пес Джонсон лежал привязанный на санях поверх груза». Эта строка запомнилась, потому что пса Джонсона на следующий день путешественники съели.

На вахту тридцать первого декабря заступили я и Володя Бурнашев. Лучше быть самому на судне в новогоднюю ночь, если ты старпом, а магистрали парят, изоляция плохая и случаются короткие замыкания. Да и идти особенно было некуда.

Володе, кажется, тоже некуда было идти. А может быть, ему хотелось встретить Новый год на судне, потому что он был романтик. Он читал жизнеописание Леонардо да Винчи Мережковского. И опасался, что такое разбрасывание помешает ему в углублении знаний главной профессии – подводника-океанографа.

Я знал, что помешать может. А может и не помешать. Мне такое помешало. Но есть люди и посильнее меня. И так как я давно дал зарок ничего не советовать людям, то только передал Володе слова Планка: «В действительности существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу». При этом я не скрыл от Володи и других слов старого деликатно-ядовитого Планка: «Некоторые люди с богатыми духовными запросами ощущают потребность в продуктивной деятельности, ищут спасительного выхода из пустоты и обыденной жизни в занятии общетеоретическими и философскими проблемами. К сожалению, при этом получают результаты только в очень редких случаях».

Последние слова каким-то неприятным образом касались меня, хотя я никогда бы не признался в этом вслух.

Конечно, правы те, кто предупреждает об опасности дилетантства. Но самый средний писатель – уже философ-дилетант. И это раньше времени привело на тот свет многих. Нельзя философствовать эмоционально. Гибель Экзюпери – такое же самоубийство, как смерть Хемингуэя и Есенина.

Я спросил Володю, знает ли он случаи самоубийства среди физиков, химиков или биологов. Эти люди стоят сейчас над самой бездной времени, пространства, тайны жизни.

Он таких случаев не знал. Он знал только, что Эйнштейн уже в юности не боялся смерти, а Толстой думал о ней всегда. При этом Володя заметил, что не согласен с Планком. Дело не в результатах занятий общетеоретическими или философскими проблемами, а в том, чтобы заниматься ими. Важен путь, а не результат.

Так мы беседовали, охраняя сонливый покой «Нерея», ожидая нового, тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, укрепив на столе в кают-компаниии маленькую елку и засунув в шлем бронзовой статуэтки-водолаза свечку.

Нам было, конечно, немного одиноко и грустно так встречать Новый год, вести философские разговоры в одиночестве. И потом, время перед наступлением чего-нибудь особенного всегда тягостно.

Я вспомнил Анчара и решил пригласить его на праздник.

Володя привел пса, который дрожал крупной дрожью. Анчар весь заиндевел на морозе, сразу лег под паровую грелку и зажмурился, не веря своему счастью.

– Начальство хочет списать пса, – сказал Володя, теребя собачьи уши. – Только они это через мой труп сделают. Вы бы видели, какой он смешной, когда с аквалангом под водой ходит! Шерсть за ним, как флаги расцветивания, полощется, и хвостом рулит...

Я спросил Бурнашева, что ему кажется самым жутким под водой.

– Что-нибудь большое. Померещится подводная лодка, например. Подлодка, которая из мути бесшумно прет куда-то. Не обязательно на тебя даже... Вообще, что-то громадное пугает... Я однажды стенки дока напугался, хотя знал, что должен ее увидеть.

– А что самое хорошее?

Он ответил не сразу, обдумывая, а пока сам задал мне несколько вопросов из подводного сигналопроизводства: «Дернуть, потрясти, дернуть»? «Дернуть, потянуть, дернуть»?

Он был инструктором-водолазом, а я путал «потрясти» и «потянуть». Вот он и тренировал меня в разговорах.

В школах он читал детишкам лекции о необходимости соединения акваланга с океанографической наукой. Особенно убедительным примером пользы такого соединения был рассказ о неизвестных существах, которые хотят узнать нечто о людях и спускают на Невский проспект из космоса сеть. Прохожие видят сеть над головой, разбегаются, прячутся, бросают по дороге галоши и окурки. И вот только эти-то галоши и окурки попадают в сеть неизвестных существ. И неизвестные существа ничего о нашей жизни узнать не могут. Вот если в они сами спустились на дно воздушного океана, на дно земной атмосферы, то другое было бы дело. Отсюда: если человек хочет узнать море, он должен в него спуститься и пожить в нем.

– Ну а что кроме пользы науке влечет в воду? – допытывался я.

Он объяснил, что в воде все особенное. Вода даже плохое превращает в хорошее. Он, оказалось, ругается сам часто, но не любит слышать ругань других. И был такой случай.

Они ставили на глубине мачту для приборов. Под Бурнашевым работали двое ребят, им тяжело доставалось, они ругались. И мимо него поднимались из глубины матерные слова вместе с пузырьками воздуха. А он мат и не слышал, замечал только чудесный хрустальный звон от пузырьков.

Я поинтересовался: как могло случиться, что он слышал только хрустальный звон, но знает, что ребята ругались?

Он согласился, что здесь есть некоторое противоречие. Тогда я рассказал, что давно размышляю о длине нашего языка, о неизбежности сокращения сложных слов и оборотов. Слова уже делаются путами на ногах мыслей, приходят в противоречие с сегодняшними скоростями. И появляется необходимость в профессиональных кодах.

Послушайте звукозапись старых, военного времени радиопереговоров в танковом бою или схватке истребителей в воздухе. Здесь лишнее слово подобно смерти в прямом смысле. И непосвященному кажется, что беспрерывный мат в шлемофонах – лишние, рожденные волнением, напряжением, страхом слова. Но это не так. Матерная ругань для тренированного уха – тончайший код. От простой перестановки предлога до богатейших интонационных возможностей – все здесь используется для передачи информации. В информацию входит даже эмоциональное и психическое состояние того, кто ее передаст.

Я заверил Бурнашева, что не собираюсь смаковать сквернословие, оно омерзительно, если идет от распушенности. Но если пилоту не дали короткого кода, он выработает его сам, потому что от скорости передачи и приема информации зависит его жизнь. Матерная ругань коротка, хлестка, образна, эмоциональна и недоступна быстрой расшифровке противником. Лекцию о пользе русского мата я подкрепил ссылкой на Пушкина, который «желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность» и говорил: «Не люблю видеть в

первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали».

Потом мы обсудили будущий подводный фильм. Мы оба считали, что фильм должен быть философским. Но Бурнашев определял суть философии в покое и чистом созерцании йогов. Он считал, что глубина океанов воздействует на человеческую душу в этом направлении. Я возражал, ссылаясь на Блока и на то, что покой нам только снится.

– Это надоело, как прибой на экране в морских фильмах, – сказал мой собеседник. – Как танцы голых девиц под водой – нашли место для кабае и стриптиза!

Я утверждал, что только движение в пространстве связано с движением духа. Во всех религиях бог не сидел на месте. Он шел. Или витал. Или летал. Христос, если прикинуть по карте и по Евангелию и если учесть, что в его времена было мало ослов, прошел пешком многие тысячи километров. И Магомет, если горы не шли к нему, шагал к ним.

Володя считал, что Христос и Магомет не сами боги, а только пропагандисты-агитаторы, и это меняет дело.

Здесь он, наверное, был прав, но мы поспорили, ибо уже привыкли спорить во время многочисленных подобных разговоров.

За полчаса до Нового года поднялся из машинного отделения вахтенный моторист Сергей Сергеевич – тот, с которым мы гоняли самоходки на Салехард. После перегона он болел и сильно сник. В море ему больше не светило. А на зимовку мы его взяли мотористом – много ли сил надо следить за отопительным котелком.

У Сергея Сергеевича происходила обычная для пожилых людей аберрация памяти. Плен и концлагерное прошлое делались у него навязчивым воспоминанием, а близкое прошлое моментально выветривалось. Я как-то спросил его о девушке в красном пальто из поезда Воркута – Москва. Он ее не вспомнил.

Сергей Сергеевич сел на корточки у двери и в торжественный момент под Новый год вдруг рассказал, как после освобождения их везли на родину. И в Польше эшелон обстреляли недобитые бендеровцы. Охрана эшелона оказалась на высоте. Бандитов казнили.

– Слушайте, Сергеич! – взмолился я. – Если веселее не вспомните, я использую начальственное положение и отправлю вас вниз, в машину.

Потом взял ракетный пистолет, ракеты, и мы вышли на палубу.

По близкой набережной и мелким торосам вдоль Невы к заливу струилась поземка. Потрескивал от свирепого мороза лед. Напротив неподалеку чернела полынья, из нее густо парило, морозный туман смешивался с поземкой, скользил по льду.

И Горный институт, и адмирал Крузенштерн, и Академия художеств. Пушистые шары вокруг стояночных огней на парусниках. Тишина. Пустыньность. Нарастающий звон ночного трамвая, цепочка его желтых замерзших окон над парапетом набережной.

Неудачник-вожатый в пустом вагоне тормозит у Тринадцатой линии, возле «Нерея».

Мы были сейчас друзьями с вагоновожатым, нас связывали те славные узы, о которых просто и удивительно писал французский легчик.

– Анчара забыли! – вспомнил Володя Бурнашев. – Подождите палить!

Шипел пар за бортом «Нерея», бесшумно падал иней и снег с антенн, с мачты, со шлюпбалок. Миллионы людей сидели вокруг в каменных домах. А город был пуст и замер.

Володя приволок упирающегося всеми лапами Анчара.

Теперь нас было четверо. Вернее, пятеро: трамвай не двигался – вагоновожатый хотел встретить шестьдесят шестой год на остановке.

Странный это был Новый год.

Ударили куранты, и я выстрелил зеленой ракетой, стараясь, чтобы она низко пошла над льдом Невы. Пиротехника запрещена на территории Ленинградского торгового порта.

Бурнашев, конечно, не смог удержать руки – его ракета пошла в зенит.

Сергей Сергеевич стрелять отказался – он давно уже настрелялся досыта.

Тени от ракет метнулись по крышам, куполам и судам. Где-то недисциплинированные моряки поддержали почин: с десяток ракет поднялось и затухло над самым городом.

Трамвай весело звякнул, нарушил тишину и унесся вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. А мы спустились в кают-компанию и всей вахтой еще раз нарушили законы и постановления – выпили водки при исполнении служебных обязанностей. Анчару досталась половина чудесных закусок.

Потом пес был отправлен обратно на цепь.

К утру Анчар исчез. Он всю жизнь провел в сторожевом охранении. Ему нельзя было и на несколько часов менять суровую жизнь на тепло и предновогодний уют.

Стремясь обратно к нам, он оборвал цепь, долго бегал по судну – на палубе в снегу остались следы, – но двери были стальные, на заглушках, он не смог их открыть и, вероятно, подался в город, погиб под машиной или трамваем, ибо не имел к ним никакой привычки. В милицию он не попадал – мы справлялись. Чужим людям такой старый пес, конечно, не был нужен...

К весне, ни разу не нырнув, перессорившись с ученым начальством, в котором не нашлось потребного мне количества философии, ушел с «Нерея» и я.

Начало охлаждению между мною и ученым начальством положил Анчар. Начальству старого пса не было жалко, оно было даже довольно его бесхлопотным исчезновением. А если человеку не жалко собаку, то, быть может, он и ученый, но не философ.

Франциска

Покинув «Нерей», я отправился в первую заграничную поездку. Наиболее запомнилось мне от этой поездки то, что я ничего не запомнил. Вероятно, от волнения.

Ну, ел зайца... Курил сигареты с каким-то стрихнином... Шалел от разговоров о ценах на мебель у них и у нас... Спал в Театре абсурда... Разбил лоб о стеклянные двери с фотоэлементом в шикарном отеле – автоматика на меня не прореагировала, а я дверей не заметил... Ну, выпил двести чашек кофе... Выставил ботинки в коридор, а их надо было уложить в специальный ящик возле порога, – еще удивился, что мои ботинки одни стоят в коридоре... Древний замок. Дыбы. Дырки, через которые капала вода на плечи узников. Клещи для ногтей. Напугался там до смерти, потому что отстал от экскурсии, а вокруг стояли колья для преступников и лежали венки от потомков – тут испугаешься... Чуть не подавился костью от зайца, когда узнал, что человек, закуривающий первую сигарету ровно в одиннадцать десять утра, – поэт... Еще раз убедился в том, что боюсь продавцов и продавщиц... Ощущал постоянные сомнения в своем внешнем виде... Терзался неумением покупать подарки родственникам... Не любил спутников и немедленно начинал тосковать без них... Ну, временами впадал в возбуждение от коротких юбок, голеньких дам на обложках журналов, кофе, виски, вина... Всегда хотел спать... Внимательно выслушивал разную ерунду. Однажды начал почему-то вдруг декламировать: «Но спят усачи гренадеры!..» и забыл, как дальше: «В долине, где...» В какой долине? Понял, что пора возвращаться. Залез в самолет и улетел. Вывод: надо уметь летать за границу. Здесь, как и везде, нужна тренировка. И надо еще исполнять заветы классиков. Ведь на сто процентов прав был Лев Николаевич Толстой, когда, при встрече с первым русским авиатором Уточкинским, заявил со свойственным графу патриархально-крестьянским консерватизмом, что лучше бы люди учились хорошо жить на земле, чем плохо летать в воздухе.

Поэтому следующий раз я отправился за рубеж на автомашине. И уже смог запомнить одну заграничную встречу.

... Позволено сказать про девушку, которая понравилась, которая пробудила нежное и тревожное любопытство, что она голенастая девушка? Или слово «голенастая» несовместимо с нежным и тревожным любопытством, с обликом девушки, которая может нравиться с первого взгляда?

На ней были синее форменное платье, белый передничек с кружевами и белая косынка. Платье было коротким, открывало колени. И вот из-за этих коленок и худощавых икр я и говорю, что она была голенастая. Как будто ей было не двадцать, а пятнадцать лет. Она и вся была худенькая. И когда несла два пластиковых ведра с водой, то было ее жалко, хотелось помочь. Но это только в первый момент. Потом ясно становилось, что она пронесет эти ведра дальше тебя. Такая гибкость была в ее теле, так высоко держала она голову, так безмятежно неподвижна была вода в ведрах. И улыбалась еще пленительно – сверкнет зубами, глянет прямо в глаза и потупится. И за эту короткую секунду промелькнет перед тобой десяток разных девушек – этакая всезнающая завлекательница, соскучившаяся по танцам и поцелуям резвушка, стыдливая кокетка и смиренная монашка. И гадай на кофейной гуще – что там на самом деле?

– Как тебя зовут? – спросил я.

Она пожала плечами. Она не понимала. Стояла передо мной и теребила фартучек.

С веранды отеля смотрели на нас портье и молодой парень-швейцар. «Быть может, им запрещено все такое?.. – подумал я. – Быть может, я ее подвожу?..» Взгляды портье и швейцара были равнодушными, профессиональными, тренированными. Боже, как я не люблю швейцаров!

– Как тебя зовут? – спросил я по-английски.

Она пожала плечами, поправила волосы и улыбнулась виновато. Но не уходила и не сердилась.

Я ткнул себя пальцем в грудную клетку и сказал:

– Виктор.

О! – обрадовалась она. – Франциска! – и прижала ладони к своей маленькой груди, показывая, что она и есть Франциска.

Никогда не думал, что есть живые женщины с таким именем. Я только читал о женщинах с такими именами.

И мы пошли с ней по дорожке. Я не знал, куда ей надо сворачивать – направо, налево. Прямо то ей не надо было идти – там был другой отель, еще более современный и роскошный, там за стеклом стоял мертвый волк и скалил зубы на проживающих, там продавали иллюстрированные журналы всех стран мира и играл дорогой оркестр.

Как много значит имя женщины. По имени, сам не замечая этого, сочиняешь ее для себя и потом десятилетиями веришь в легенду, сотканную тысячами ассоциаций, возникших из дебрей памяти, существующих в тебе еще с детства: «Франциска».

У наших женщин есть чудесные имена – Мария, Анна, – но они пришли с запада. Злата – чудесно, но не существует сегодня. Удивительные по нежности и женственности имена у англичанок – Мэйв, Клайв... Кэтрин...

Мы прошли мимо десятка американских, итальянских, немецких машин. Они низко припадали к асфальту стояночной площадки своими стремительными, как у гончих собак, мускулистыми и блестящими телами. Наша «Волга» выглядела среди них провинциально, но крепко.

– Ленинград! – сказал я с иностранным акцентом и ткнул в «Волгу».

– О! – сказала Франциска и кивнула головкой на тропинку, которая вела к шоссе.

И я не понял: она одобрила то, что я из Ленинграда, или показала, что ей надо сворачивать? Как мне не хотелось с ней расставаться! Как мне хотелось просто так, тихо и молча пройти с ней рядом по остывающей вечерней земле, над озерами, цвет воды которых мне так и не удалось определить, мимо столбиков, отражатели которых вспыхивают от фар приближающихся машин.

Быть может, мне надо было просто-напросто ее обнять за плечи, когда мы свернули на тропинку. Засвистеть какой-нибудь твист, обнять ее за плечи, и пошелестеть деньгами в кармане, и пригласить в кабачок. Денег у меня была куча – четверть миллиона динаров, и я знать не знал, куда их спустить, потому что через неделю должен был быть уже в Будапеште. Красивая жизнь...

До чего эта жизнь влечет нас, пока мы не выигрываем лотерейный билет и не попадем в нее сами. И тогда оказывается, что все это ерунда. И уже через десять заграничных дней тебя тянет назад. Даже если свободно едешь по прекрасной южной земле на машине.

Я, конечно, не обнял ее за плечи и не стал насвистывать твист. Мы шли по узкой дорожке среди кустов, ромашки белели в вечернем сумраке по краям тропинки, из ресторанов отелей уже слышалась музыка. И Франциска, конечно, ждала от меня чего-то. Но я не мог обнять ее за плечи. Она казалась мне чем-то таким же нежным, как и ее имя.

– Где – будешь – сегодня? Где – тебя – встретить? – спросил я по-русски, по-английски и по-немецки. Я вообще выяснил, что вдруг могу говорить иностранные слова и даже если нахожусь в особенном состоянии, то и понимать ответ.

Она остановилась и говорила быстро, много и трогала пальцем мой галстук, завязку галстука. Она говорила по-хорватски, но я уже нечто понимал, улавливал, интуиция сконцентрировалась и превратилась в переводную электронную машину, которая сведет все языки к одному штампу. Она говорила о том, что хочет меня видеть сегодня, но есть нечто препятствующее этому, но она попытается обойти это препятствие. И что она будет весь вечер в харчевне,

вот огни этой харчевни, за деревьями, но если у меня есть товарищ, то пускай я прихожу с ним, а не один. Там собираются не туристы, а те, кто работает здесь.

Мне надо было взять ее за уши и поцеловать. Но вместо этого я кивал своей пустой башкой, потом повернулся и пошел в отель: время ужина уже заканчивалось. Ужин был нужен мне как прошлогодний снег. Но почему-то я давно привык вести себя не так, как хочется, как естественно вести себя, а наоборот. Меня ждал ужин в ресторане, и я пошел его жевать...

Я думал о Франциске и слышал разговор:

– Можно посмотреть в ваши темные очки?

– Пожалуйста, а я посмотрю в ваши...

– Вы зимой носите очки?

– Я не люблю зеркальные стекла.

– Зеленоватый цвет лучше.

– Как вам сказать...

Не знаю, чего я ждал от нашей встречи с Франциской. Но по дурной привычке мозг анализировал мои эмоции и издевался над ними. «Чего это она тебе так понравилась? – спрашивал мозг. – Или тем, что она не капризничает? Но это-то и плохо. Каприз – единственный способ для женщины утвердить свою самостоятельность в такой ситуации. Очевидно, твоя Франциска – несамостоятельное существо...»

– Нужно, чтобы с боков все было закрыто.

– Нет, для меня это необязательно.

– Ваши тяжеловаты...

– Я не привыкла к пластмассам.

– Я тоже не привыкла, но роговая оправа...

– Какая же это «роговая»? Это пластик.

– Какой же это пластик? Все помешались на химии!

– Вы хотите сказать, что это рог?

– Я хочу сказать только то, что я сказала...

Я подумал о том, как уйду отсюда, пройду метров пятьсот по шоссе, потом поднимусь по склону кювета, увижу милый маленький кабачок. Очевидно, меня могут ждать там неприятности. Какой-нибудь парень, который любит Франциску уже длительное время, который имеет на нее все права. Или еще что-нибудь такое нехорошее.

– А я обхожусь без очков. Мода. Наши бабушки отлично без них обходились.

– У меня западногерманские, уже четвертый год...

– Поляки тоже делают хорошие...

– Нет, у французов самые элегантные.

– Меня они успокаивают.

– А меня не всегда...

Черт-те знает, подумал я, обсасывая куриную косточку. Еще действительно в драку попадешь. Как бы чего не вышло... А как теперь не пойти? Чепуха какая... Конечно, пойду. Ерунда все это, но как бы чего не вышло...

– Надо требовать у администрации вино! Видите: американцам подали вино, а нам только воду...

– Действительно, в Венгрии дают вино, а здесь только воду.

– У меня от этой воды живот болит.

– Джем я возьму с собой – такая аккуратная коробочка!

– Просто прелесть... Это будет как сувенир...

– Вы любите световые эффекты в ресторанах? Они, конечно, для молодых, но иногда...

Световые эффекты действительно начались. Свет то притухал, как в бомбежку, то опять нормально разгорался... А зачем она сказала, чтобы я приходил с товарищем? И где я его возьму? Серый волк мне товарищ...

– У нас не умеют делать красивую упаковку.

– Кто с вами будет спорить?

– Масло горчит, но упаковка на высшем уровне.

– У них очень дешевый шоколад...

Здесь световые эффекты кончились. В том смысле, что свет потух окончательно. Официанты неслышно пошли по залу, прося у господ и панов прощения. Официанты зажигали свечи на столах.

Я вышел из ресторана и увидел южную темноту. Глаз выколи – вот что я увидел. Ни одного фонарика. Электричество погасло везде вокруг – не только в ресторане.

Какое там шоссе, кювет, кабачок... Где я найду дорогу в этой крошечной тьме? Тут бы до логова добраться. Вероятно, если идти все время только по асфальту, то свой отель я найду, а с Франциской свидание не состоится. И я тут ни при чем. Виноваты электрики и господь бог. И слава электрикам и господа богу. Теперь ничего не выйдет.

Я знал, что она ждала. Между нами нечто случилось, когда я вызвал ее в номер, нажав кнопку на дощечке под силуэтом девушки в фартучке. Надо было погладить брюки. И пришла Франциска.

Чтобы показать горничной необходимость погладить штаны, берешь их в руки, скорбно смотришь на них, качаешь головой, вздыхаешь, затем ослепительно улыбаешься – и разговор окончен. Она улыбается, берет штаны, делает книксен у дверей и исчезает. Через полчаса теплотвердые брюки приятно ломаются на твоих коленях, когда опускаешься в кресло. И кстати говоря, только в эти короткие минуты ты не забываешь поддерживать их, садясь.

Так вот, когда она вошла, нечто произошло. Наша интуиция ошибается редко. Она угадывает так властно, что побеждает врожденную робость и застенчивость.

Франциска погладила брюки и принесла их. И я понял, что она чего-то ждет от меня.

Но свет погас, и совесть моя была светла. Где бы я Франциску нашел? Во тьме, в чужом месте? Без языка?

В номере горела на столе свеча, штора была откинута, окно выходило на стоянку машин, подоконник был очень низким.

Я посидел у окна, глядя на черные ночные деревья, на номер итальянского «фиата» со словом «РОМА». «Фиат» ночевал под моим окном и был слабо освещен свечкой. Здоровый смех туристов доносился из ночи, здоровый смех сквозь здоровые зубы. Наверное, кто-нибудь рассказывал о стриптизе в Дубровниках. А я, очевидно, человек старомодный. Мне не нравится стриптиз. Мне жалко женщин, хотя я знаю, что они исполняют обряд раздевания не без удовольствия. Но мне жалко их. Мне нужна добрая улыбка горничной, хотя никогда не знаешь, почему она улыбается. Или ждет чаевых, или уже в благодарность за них... Именно этими мыслями я утешал себя. Я ведь не мог забыть, что подумал: «как бы чего не вышло». Но это «как бы чего не вышло» плотно сидело во мне. Плотнее, нежели я хотел бы.

Я задул свечу и лег спать.

Да, утром, когда я встал и пошел купаться на горные озера, мне хорошо было оттого, что ничего такого не вышло. Это вечером можешь делать глупости. А утром ты уже другой.

Я сиганул в озеро с разбега.

Столетние дубы еще спали надо мной, тень их была холодна. И вода была холодна. И, согреваясь быстрым брассом, я опять подумал о том, как великолепно, что свет потух и ничего не вышло. Это все таки главное – чтобы ничего такого не вышло.

Я, конечно, боялся увидеть Франциску. Но когда я уже защелкивал саквояж, она постучала и вошла в номер.

Я показал ей на лампочку и развел руками.

Она кивнула.

Я взял саквояж и протянул Франциске руку.

Она покачала головой, стояла у двери и теребила фартучек. Потом сказала: «Здравствуй». И убежала.

Ну что ж, подумал я. Вот так все и бывает. Вот так все и бывает. Когда хорошее уже рядом, попадаешь за стол, ужинаешь, слушаешь разговоры о темных очках. Потом гаснет свет.

Машина шла хорошо, дорога была пустынна, раннее солнце просвечивало зелень деревьев. Первая сигарета дурманила голову. И хотелось не забывать грусть расставания с Франциской. Но скорость затягивала в привычную игру с дорогой, со встречными машинами, указателями и неизбежной опасностью, потому что всегда, когда сидишь за рулем, ощущаешь настороженность, и она особенным образом будоражит.

Тело хранило свежесть утреннего купания, изумрудная вода горных озер еще не выветрилась из пор и отдавала озон, которым напиталась, падая с каменных круч.

Прекрасна была природа Хорватии вокруг. Август лениво развалился среди гор, лесов и лугов. Август беззаботно шурился на раннее солнце. Он и думать не хотел о том, что рано или поздно придет сентябрь, и октябрь, и январь. Август валялся среди цветущего клевера, ромашек и глазел на строгость горных вершин вокруг долины. Ему не было никакого дела до меня. Глубокий мир лесов.

Вираж. Еще один вираж. Жжих! – мостик через ручей. Роцца. Тень и свет на ветровом стекле. Вжих! – встречная машина. Опять вираж. Стадо баранов, бредущее вдоль правой обочины. Дисциплинированные бараны второй половины двадцатого века. Можно не бояться, что какой-нибудь молодой баран метнется на шоссе.

Девчонка лет пятнадцати позади стада с длинным бичом в руках.

Бич взлетает над ее головой и косо падает поперек шоссе, под колеса машины.

Близко проносится озорное лицо. Она хохочет. Ей весело кидать бич под колеса встречных машин. Еще несколько секунд в зеркальце видно стадо баранов и девчонку. Она машет рукой.

Прощай, Франциска. Дорожные встречи чаще бывают грустными. Но дорога сама потом вылечивает грусть – до обидного быстро. И все-таки как грустно, что я хотел, чтобы ничего не вышло. Как это грустно, как это грустно...

Как я не написал статью об арктическом туризме и что из этого вышло

После возвращения домой я отправился в командировку. Маршрут: Архангельск – Соловки – Дудинка – Игарка – Мурманск. Отправитель: «Литературная газета». Аванс: восемьдесят пять рублей. Цель командировки: принять участие в первом арктическом туристском рейсе теплохода «Вацлав Воровский» и описать виденное, как всегда, правдиво и талантливо.

Шестого сентября прибыл в Архангельск с пишущей машинкой «Эрика» в чемодане.

Когда чемодан вышвырнули из самолета на бетон аэропорта, «молнии» лопнули.

Я давно знаю, что на Севере с вещами случаются неожиданности. Четырнадцать лет назад я был молодым, блестящим, проворным флотским лейтенантом, но мой чемодан в Мурманске переехал маневровый паровоз. В чемодане был кортик. Он числится за ВМС до сих пор, потому что я еще не знал, что по любому поводу нашей жизни следует составить акт при двух свидетелях. Теперь я об этом знаю, однако амортизация сердца и души уже велика – акт на лопнувший чемодан я не составил. Перевязал чемодан брючным ремнем и поехал в местную газету отмечать командировку.

Известно, что интеллигентный человек, оставшись без брючного ремня или подтяжек, сразу превращается в гопника. Потому эти вещи в милиции отбирают первыми.

Я чувствовал себя неловко в редакции газеты. А там еще сидел столичного, лощеного вида мужчина и орал по телефону в Москву:

– Белоснежный! Понимаете, бе-ло-снеж-ный! Да-да! Как чайка! Птица такая, птица! Белоснежный, как чайка, лайнер «Вацлав Воровский» застыл у причала... Повторите!..

Я представился, придерживая брюки.

– Еще один корреспондент! – всплеснула руками секретарша.

– А что, нас уже много?

– Журнал «Турист», «Вечерняя Москва», «Неделя»...

Я не собирался показывать, что «Литературка» способна бояться конкурентов. А на деле совсем скис, потому что выступал в роли спецкора второй раз в жизни. Кроме того, никакой я не газетчик. Я боюсь людям вопросы задавать. Слишком я деликатен, скромн и не уверен в себе, чтобы лезть в души людей выпрашиваниями. Я обычно на тонком лиризме выезжаю, на самоанализе и пейзажах.

Мы познакомились со столичным коллегой, и он повел меня на причал. По дороге рассказал, что приехал вчера, в море никогда раньше не был, но уже начал работать над подвалом «Спасите наши души».

– Чур, не воровать! – сказал коллега. – Это расшифровка сигнала бедствия!

Я был зол на расползающийся чемодан и сказал, что SOS есть SOS, никаких там душ нет, все это выдумки и ерунда; пусть коллега лучше поможет мне тащить вещи. И он помог, и я ему был благодарен. Но потом, уже в рейсе, он так надоел мне куриными темами подвалов и глупыми вопросами, что разок пришлось выгнать его из каюты.

На белоснежном лайнере я прошел к чифу, то есть старшему помощнику капитана, и представился. От чифа на судне зависит все. Капитаны витают слишком высоко над грешной землей и святым морем, чтобы от них была реальная помощь в судовом быту. Это я пишу для всех спецкоров «Литературки», делюсь опытом.

Естественно, что я получил в полное распоряжение двухместную каюту, а коллеги остались в таких каютах по двое. И это вызвало ко мне нездоровый интерес. Но когда коллеги узнали, что я на командировку получил восемьдесят пять рублей, то утешились.

Я распаковал чемодан. «Эрика» оказалась разбитой вдребезги.

Это был удар ниже пояса. Если настоящий, хороший писатель привыкает создавать образы на машинке, у него вырабатывается отвращение к перу и карандашу.

Туристы весело шумели за окном каюты, собирались к Ломоносову. За оградой причала я видел Петра Первого. Вокруг Петра мальчишки играли в войну, лупили друг друга вырванными с корнем подсолнухами. Булькала Северная Двина.

– Надо, надо было составить акт! – твердил я. – Когда ты научишься, дубина, жить по человечески?

Седьмого сентября стали на якорь у Соловков.

Было объявлено, что для доставки туристов на острова еще позавчера из Кандалакши вышел специальный катер. Это мне не понравилось. Знаю я эти катера из Кандалакш, Пинег и т. д. Здесь работает невозмутимый народ – поморы. Они никогда никуда не торопятся. И я отправился к старпому на разведку.

Чиф сидел грустный. Перед ним грустно стоял боцман. Боцмана звали «дракон». Это был самый здоровенный из всех боцманов-драконов, каких я видел.

– Придет катер-то? – спросил я чифа.

– Исчез без вести, – сказал чиф и слабо ругнулся, глядя в окно на зеркально штилевое море.

Дракон тяжело вздохнул. Ему, очевидно, предстояло возиться со спуском на воду судовых плавсредств и самому переправлять туристов в монастырь.

– Подождем до обеда? – спросил дракон с надеждой.

– Подождем, паренек, – обреченно согласился старпом.

На каждом судне бытует особо любимое обращение друг к другу в нестрогое время. На «Вацлаве Воровском» таким словом было «паренек».

Помню, на «Вытегре» все звали друг друга «организм». Боцман являлся ко мне и говорил: «На покраску корпуса надо пять организмов». Я отвечал: «Больше трех организмов дать не могу». На одном рыболовном траулере главным обращением было «сундук с клопами». Штурман кричал с мостика: «Когда этот сундук с клопами флаг спустит?» Сундук с клопами, то есть подвахтенный матрос, бежал куда следовало и спускал флаг.

Часто употребляется слово «волосан». Раньше оно имело оскорбительное значение. Рыбаки плавали на угле, мылись соленой водой, не стриглись весь рейс и возвращались в родной порт обросшие волосами, грязные и дикие. Отсюда и «волосан». Теперь рыбаки возвращаются чистые, наглаженные, оскорбительный оттенок обращения забыт.

«Волосан» употребляется с различными прилагательными. Например: «тропический волосан», «шестигранный волосан», «лошадиный волосан», «восьмиугольный волосан» и т. д.

Туристы, которые с раннего утра торчали на палубе, обвешанные фотоаппаратами, в сапогах и меховых шапках, часикам к одиннадцати стали возвращаться в каюты. Катера из Кандалакши не было.

И здесь, взамен Соловецких островов, было объявлено другое мероприятие: демонстрация кинокомедии «Тридцать три».

Я вздрогнул от гордости, ибо принадлежал к авторам этой комедии.

Я очень хороший писатель, поэтому никогда не вижу своих книг в руках трамвайных пассажиров. Очевидно, меня читают в интимной, домашней обстановке, чтобы как следует сосредоточиться. Вообще-то я еще не встречал человека, который бы слышал мою фамилию. Это потому, что вокруг меня много завистников.

И я занялся кинематографом. Бессмертный зверино-морской фильм «Полосатый рейс» – моя работа, хотя, как и всегда, соавторы мешали мне раскрутить талант на полную катушку. Единственная современная трагедия, папахивающая Шекспиром, – «Путь к причалу» – испорчена композитором Андреем Петровым и поэтом Поженяном. Они сочинили популярную песню с художественным свистом. Чтобы заставить человека вспомнить трагедию, мне прихо-

дится говорить: «Помните, там есть песня: „... друг мой – третье мое плечо – будет со мной всегда...“» – «А! – говорит зритель. – Как же! Помню!»

Действительно, попробуй такое забыть – третье плечо! Из какого места оно произрастает?

После демонстрации на «Воровском» фильма с голым Евгением Леоновым в главной роли я кое что предпринял для того, чтоб туристы узнали, что я есть я. Через денек ко мне прибыла делегация и умаслила душу просьбой выступить в цикле «Интересные люди среди нас».

Один интересный молодой человек – кандидат математических наук – уже выступал в цикле. Я присутствовал. И узнал, что Вселенная расширяется, но молодой кандидат еще не знает, откуда, куда и зачем она это делает. Встречались мы и с дамой, которая ездит по Европе и собирает коллекцию чемоданных наклеек.

Я уже говорил, что страдаю застенчивостью, деликатностью и т. д. Но тоже выступил, рассказал несколько баек о якобы случившемся при съемках.

Кино настолько таинственная вещь, что даже умные люди верят, например, мне, когда я вру, что у дрессировщицы тигров Маргариты Назаровой был огромный удав и он вылез из клетки, а дело было в поезде. И вот удав переполз из своего вагона в вагон-ресторан, по дороге замерз и в ресторане, чтобы согреться, обвился вокруг титана с кипятком, раздавил бак, обварился какао и поднял нездоровую возню и гам. Поезд остановили стоп-краном. Маргарита вбежала в ресторан, размотала удава с бака и т.д.

Ну скажите, как может змея открыть четыре двери на переходных площадках вагонов? А ведь никто не сомневается, никто никогда не дал мне затрещины, слушают с таким напряжением, что стыдно потом из бюро пропаганды деньги получать... Кино – самый массовый психоз из всех.

«Это правда, что Алла Ларионова ушла к Иву Монтану, а Николай Рыбников и Симона Синьоре повесились?»

Отвечаешь и на такой вопрос, потому что наш зритель лучший в мире и его надо любить и уважать.

Но самые ужасные вопросы – это когда ты уже пальто надел, а тебя в дверях хоп – с боков под локотки – и в теорию киноискусства. Это зрители-киноведа, серьезные знатоки, им на личную жизнь Клаудиа Кардинале и на твою наплевать.

Среди туристов оказалось двое таких. Фамилия одного была Лисица, другого – Щегл.

Они поймали меня в баре и сели по бокам, представились, потом Лисица сказал:

– Любая фантастика, уважаемый автор, научная или там ненаучная, абстрагируясь в ирреальное, иносказательное, полезна, очевидно, тем, что позволяет четче прояснить суть процессов реальной действительности. Вы согласны?

– Это вы о «Тридцати трех» или о «Полосатом рейсе»? – спросил я и вспотел.

– Да, – сказал Щегл многозначительно. – О "Тридцати трех".

Тогда я объяснил, что не являюсь профессиональным физиком-теоретиком и прошу перевести вопрос на русский, обыкновенный язык.

– Мы хотим спросить о положительном нравственном кредо, – перевел Лисица. – Должно быть в художественном произведении положительное нравственное кредо?

Я сказал, что если они признают произведение художественным, то в нем, следовательно, уже есть положительное кредо. И вспотел еще сильнее, потому что не люблю таких слов, как «кредо».

– Вам не кажется, что разрушительный пафос сатирического осмеяния потенциально должен быть наполнен пафосом утверждения? – спросил Щегл, холодно и пронзительно глядя мне в лоб. Он не мог перейти от физических понятий – «потенциал», например, – к русскому языку.

Я смутился и пробормотал что-то о необходимости Щедриных.

– Они необходимы, – согласился Лисица. – Но не кажется ли вам, что, заноса гневный бич сатиры, нужно тридцать три раза отмерить?

Я с детства знал от бабушки, что отмерять надо семь раз. Так гласит народная мудрость. Но Лисица и Щегл хотели отмерять почти в пять раз больше, нежели русский народ.

И я чего-то испугался, ощутил почему-то дрожь в коленях. И по привычке свалил все грехи на соавторов, благо те были далеко. Я сказал, что мерил тридцать три раза, а вот соавторы совершенно разболтались, распустились, потеряли самоконтроль, дисциплину. И один – лауреат Ленинской премии – отмерил всего пять раз. А другой – заслуженный деятель искусств – вообще докатился до того, что отмерил четыре с половиной раза.

– Нам не было смешно, когда мы смотрели фильм, – сказал Щегл.

Я сказал, что юмор прикрывает непонимание чего-либо. Когда соединяют контрасты в единое целое – ставят толстого Санчо рядом с тощим и длинным Дон-Кихотом, – нам почему-то делается смешно. Нерешенные противоречия, объединенные под одной крышей, комичны. Маркс сказал, что человечество, смеясь, прощается со своим прошлым, в котором оно совершало ошибки, путалось в противоречиях, делало глупости. Юмор – здоровое предчувствие скорого решения противоречий. Кинокомедию нельзя сделать без юмора. Если у нас мало смешных комедий, значит, у нас мало юмора. Если у нас мало юмора, значит, нам все ясно, противоречия разрешены, глупости исчезли. И этому следует только радоваться. Когда люди чему-либо радуются, они почему-то тоже смеются. Так смейтесь, граждане! На кой черт вам комедии вообще?

Лисица и Щегл смеяться не стали.

Но в волнах разрастающейся вокруг меня кинославы этот разговор скоро забылся.

Коллеги-журналисты передавали в эфир статьи, очерки и подвалы о подъеме специального туристского флага, о свинцовых волнах Баренцева моря, о льдах Карского. А я все общался с любителями кино и отвечал на вопросы, терял скромность, забывая величайшее изречение творца теории относительности: «Юмор и скромность создают равновесие».

Знаете вы, что такое слава? Нет, вы не знаете. Это знает только Евтушенко и я, хотя моя слава распространялась на сто двадцать метров в длину и на двадцать в ширину – таковы размеры теплохода «Воровский». Уйти в тень от славы, сжаться в маленький, незаметный, серенький комочек, уехать куда-нибудь в глушь, в Саратов, как постоянно делает это наш знаменитый поэт, я не мог, потому что, как моряки говорят: «Судно по суку не обойдешь и на лошади не объедешь».

Слава возбуждает. Чтобы погасить возбуждение, я пил коньяк. Но когда выпьешь, уже не до писания статей в «Литературку».

Короче говоря, очнулся я, когда «Воровский» швартовался в Диксоне. Судовые динамики дружно ревели: «Четвертый день пурга качается над Диксоном...»

Шел дождь.

Отсюда диктор Всесоюзного радио когда-то начинал перечислять температуру нашей великой страны. Должен сообщить, что купцу Оскару Диксону такая честь никогда не снилась. Он тихо, мирно жил в Швеции и здесь даже близко не был, но давал деньги Норденшельду. А Норденшельд назвал бухту именем благодетеля.

Я вылез на палубу и увидел знакомые низкие сопки, тусклые низкие тучи, штабеля угля в порту, тяжелые силуэты ледоколов «Капитан Мелехов» и «Капитан Белоусов» на рейде, главный причал, возле которого мы ошвартовались, краны и маленький заливчик за причалом.

Тринадцать лет назад я пытался укрыть судно в этом заливчике. Шторм сатанел тогда над Диксоном. Шторм врасос, как говаривал Пастернак.

Я плохо выбрал место стоянки, и судно сорвало с якорей. И я было завел его в заливчик, но портовой диспетчер выгнал оттуда. Разворачиваясь против ветра, я дал машине самый пол-

ный ход, чтобы побольше швырнуть стремительной воды на руль и вывернуться. Но врезал в причал. Как я был несчастен тогда, как устал, как был одинок...

Стоя на застекленной пассажирской палубе лайнера – спецкор «Литературки», – я думал о своем прошлом с завистью. Грусть несбывшихся мечтаний была во мне. Портальный кран вытаскивал из носового трюма белоснежного лайнера ящики с пивом. И грузчики дрожали крупной дрожью, ожидая, когда бутылки окажутся в их заскорузлых руках. О, пиво в Арктике! Какая это радость и удовольствие, какое духовное приобщение к цивилизации!

Туристы альпинистской цепочкой удалялись в поселок, добросовестно месили тундру, мокрому угольную пыль, грязь сапожками, ботинками, галошами, ботами и ботиками.

Я глядел на туристов и думал о том, что наименования женской милой непромокаемой обуви и судна, положившего начало российскому флоту – «Ботик Петра Великого», – одинаковы. Вот как тесно увязаны в нашей истории женщины, флот и русская грязь. А еще я поймал себя на мысли, что с каждым посещением Диксона удаляюсь от причала все на меньшее расстояние. Году в пятьдесят третьем я весело шагал через весь поселок в барак-клуб танцевать падекатр с рыбачками – ловцами белух. Других танцев тогда не танцевали. Потом навещал только столовую: рядом со столовой была щель, в щели канистры спирта и две бочки воды – из одной разбавляли спирт, в другой полоскали кружки. Над бочками висел плакат: «Не пей сырой воды!» Потом ввели сухой закон, и я стал ходить только до почты. Потом – до могилы Тессема. Тессема я навещаю и теперь.

Норвежские матросы Тессем и Кнудсен были отправлены Амундсеном с Таймыра на Диксон с почтой. Им предстояло пройти девятьсот километров. Через два года на мысе Стерлегова обнаружили остатки костра, в костре – консервные банки, сломанный нож, гильзы, обуглившийся человеческий труп. Останки принадлежали Кнудсену.

Тессем не дошел до полярной станции Диксона четыре километра. Почту он бросил всего в восьмидесяти километрах – два пакета по двадцать фунтов каждый. Документы были в непромокаемой обертке и сохранились.

От ворот порта до могилы Тессема метров четыреста.

К гранитной глыбе прислонен якорь, вокруг якорные цепи.

И я навещаю Тессема. Я знаю, что он видел огни зимовья, когда оступился, сорвался в неглубокую расщелину и не смог уже подняться. Кем считать его, думаю я, глядя на льдины, севшие на камни под береговым откосом за могилой, – победителем или побежденным?

И в этот раз я навестил норвежского матроса, рассказал, что скоро его капитан Амундсен, исчезнувший без следа в океане, воскреснет на экранах в фильме о спасении Нобиле. И что фильм будет правдивый, хороший, потому что сценарий написал старый полярник Юрий Нагибин, а снимает фильм отчаянный воздухоплаватель Калатозов, который одинаково хорошо знает и Кубу, и Северный полюс...

Навестив Тессема, я было зарулил обратно на лайнер, но вспомнил о восьмидесяти пяти рублях. Сознание долга – главное мое человеческое качество. Рубли надо было отрабатывать, собирать материал, делать обобщения. И я побрел по главной улице Диксона... и вдребезги простыл.

Гриппозное состояние характерно тем, что все видишь и черном свете. Простой насморк стоил Наполеону в конечном счете головы.

Валяясь в каюте и чихая, я придумал тему для статьи. Я решил написать о глубочайшем нашем неуважении к самим себе, которое проникло к нам в кровь и плоть.

На теплоходе звучала музыка, девушки-туристки играли в волейбол привязанным мячом, танцевали, участвовали в викторинах; мои коллеги тоже пользовались жизнью, выясняли у стариков туристов подробности их героических биографий. А во мне бушевали вирусы, и я на все смотрел сквозь черные очки.

В музыкальном салоне устраивали выставки фотографий, напечатанных уже на судне, восхищались видами Соловецких островов, награждали автора – это оказался кандидат наук – премией. А я... я потерял правильную точку зрения и залез на обыкновенную кочку.

Я вдруг вспоминал Соловецкий монастырь и объявление у входа на берег: «За отпуск собак в лес – штраф!», и двух пьяных. Пьяные лазали по крепостным стенам, материли туристов, гоготали и выламывали доски загородки. Бледная девица-экскурсовод смотрела на них с ужасом. Никто из туристов не дал им в морду; все делали вид, что ничего не видят. Экскурсовод сказала, что у заповедника нет денег на сторожа. И я подумал, как жутко ей жить здесь длинную зиму, среди руин, среди святых камней, среди тысяч неизвестных могил.

Знакомый моряк, который служил на Соловках в войну, как-то рассказывал в кают-компании веселую историю. Рыли в горе гараж и наткнулись на склеп. В склепе лежал старец. Он был похоронен двести лет назад, но отлично сохранился, даже платье порвать оказалось трудно. Старец был при бороде, золотом кресте и бляхе. Золото содрали, а труп вытащили и посадили возле дороги на пенек, подперли лопатой, в рот сунули самокрутку. Шла по дороге женщина, кликнула старца, присмотрелась и ахнула в обморок...

Боже мой, как хохотала кают-компания! Как хохотал рассказчик, как хохотал я сам...

Соловки – это не акварельные краски моря, зеленых холмов и не монастырь – «как постройка сказочных богатырей». Соловки – это запах тления и разрушения.

Вот такие мысли начали вдруг приходить мне в голову и складываться в статью. В уме я резал такую правду-матку, что сам вздрагивал. Я совершенно утерять потенциал пафоса утверждения и резал, ни разу не отмеряя...

– Какой простор! – восклицал кто-нибудь, глядя на Енисей. – Вся мощь нашей страны олицетворяется этой рекой!

И вероятно, Енисей действительно был прекрасен, могуч, добр. Но я видел только ржавую полосу вдоль берегов, полосу в десятки сотен километров. Это были сплавные бревна, упущенные из плотов. Тысячи кубометров сибирской древесины, гниющие леса, трупы лесов. Через несколько лет океан вынесет их к ледникам Гренландии. Они могли жить, птицы могли щебетать в их ветвях. Они могли дать нам миллионы долларов... Я вспоминал шведские плавучие лесозаводы у горла Белого моря. Заводы работают на древесине, которую вытаскивают из моря у наших берегов. С каким презрением владельцы плавучих заводов смотрят вслед нашим лесовозам.

– Какой орнамент! – восхищались туристы, когда якуты привозили на судно тапочки из шкуры нерпы. – Как талант народа отражается даже в малом! А медвежьи шкуры можно купить?

Нет, купить их было нельзя. Их можно было только выменять.

И вот плыл по Арктике лайнер с туристами, которые в Европе собирали чемоданные наклейки, рассуждали о расширяющейся Вселенной и о пафосе утверждения, с умилением фотографировали собак в ненецком поселке, но в дома не заходили и сушили на шлюпочной палубе медвежьи шкуры, выменянные на коньяк...

Ныне мода на старину пошла. Модерные торшеры выкидывают, из комиссионных магазинов выуживают кровати мореного дуба с бархатными пологам. Иконами обзавелись. Причмокивают на Святую Троицу, рассуждают о похожести святых на обычные крестьянские лики, восхищаются отсутствием святости в Богородице и наличием в ней материнства. Уже и окать модно стало. Считается, что ежели окаешь, то в России и грибах толк понимаешь, а ежели чисто говоришь, то уже в некотором роде мухомор с опенком спутаешь. Есть писатели, которые и в идиотизм старой крестьянской жизни влюблены. Горюют, что в селе жизнь меняется, что ворот колодца не скрипит и лучины не горят. Скорбят по моральной устойчивости, которую город расшатал. Но скорбят такие почему-то на Аэропортовских улицах в Москве. И окают напропалую.

...Глухой ночью, когда мы пересекали Карское море, вдруг щелкнул динамик принудительной трансляции. Железный флотский голос объявил: «Товарищи пассажиры! Справа по борту на курсовом сорок – белый медведь! Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу!»

По теплоходу пронесся единый восторженный вздох.

Сотня полуголых туристов прыгнула из коек и помчалась на палубу. И мужчины, и женщины совершенно не стеснялись друг друга, обнимали друг друга, отпихивали друг друга и вообще вели себя как в финской бане.

А я чертыхнулся и перевернулся на другой бок.

Я был уверен, что вахтенному штурману медведь померещился: луч прожектора ткнулся в причудливую льдину, тени и блики дрогнули и побежали – вот тебе и весь белый бесплатный медведь.

В южной части Карского моря в сентябре на слабеньких льдинках медведя теперь не найдешь днем с огнем. И еще я подозревал, что вахтенный штурман – паренек живой, остроумный. Ему надоела монотонная вахта, и он теперь покатывается на палубе.

Но даже если мое подозрение соответствует действительности, обижаться на штурмана не следует. Сам того не ведая, он сделал доброе дело. Хотя никто из туристов медведя не видел, но никто в этом не сознался. Утром выяснилось даже, что были три медведя и еще медведица с медвежонком – целый табун медведей...

И что интересно: пройдет несколько лет, и туристы будут в самом деле убеждены, что видели медвежье стадо в Карском море. И будут рассказывать об этом внукам. И попробуй тогда штурман признаться – они ему не поверят! Они скорее разорвут сами себя в клочья.

Так устроен человек – самое мудрое существо в мире.

Человек отличается от других существ тем, что умеет себя обманывать, умеет искренне верить в собственную ложь.

Мои коллеги, настоящие газетчики, тоже выстрелили на палубу, и каждый по-своему описал стадо. Один это сделал так:

"Экзотику подсветили прожектором, и двое мишек, неуклюже подбрасывая толстые задние ноги, скрылись в темноте.

Кто-то заметил:

– Ушли в сторону полюса.

Его со вздохом поддержали:

– И там им покоя не будет. Наткнутся на очередную СП..."

Чувствуете, сколько здесь пафоса утверждения человеческого всемогущества?

А я-то всего-навсего перевернулся с боку на бок!

Из этого наглядно следует, что знание окружающей действительности мешает пишущему человеку. Давно известно, что материал должен сопротивляться, не поддаваться, упорствовать. Надо материал преодолевать, осваивать, плохо его знать, тогда и только тогда получится хороший рассказ. А мне материал преодолевать было не нужно, я его, подлеца, знал не первый год.

Вывод: меня надо посылать не на Север, а туда, где материал окружающей действительности будет мне как следует сопротивляться, – например, в Монте-Карло.

Вместо Монте-Карло судьба опять занесла меня на остров Вайгач в бухту Варнека.

Ночью вошли мы в пролив Югорский Шар, ночью пересекли границу между Европой и Азией.

Не знаю точно, где проходит эта условная линия, продолжая Уральские горы под водой. Про Уральские горы капитан удачно заметил, разглядывая берега в бинокль, что у гор «завалены уголки».

Так вот, когда делили планету на географические части света, то тоже изрядно завалили уголки.

Если страны света разделены океанами, как, например, Африка от Австралии, то тут все ясно и понятно даже слепому.

Но Европе с Азией не повезло, и крупнее всех не повезло России. Почему, скажем, жители Омска или Иркутска – азиаты, а, например, туляки – европейцы?

Тут сам черт ногу сломит. А ведь, как ни странно, эта путаница имеет большое значение. Сколько веков уже мир ломает голову над тем, что же такое русский характер. Смотрите, что пишет образованный европеец Киплинг:

«Постараемся понять, что русский – очаровательный человек, пока он остается в своей рубашке. Как представитель Востока, он обаятелен. Но когда он настаивает на том, чтобы на него смотрели как на представителя самого восточного из западных народов, а не как на представителя самого западного из восточных, – он является этнической аномалией, с которой чрезвычайно трудно иметь дело. Хозяин никогда не знает, с какой природой гостя он имеет дело в данную минуту».

Представляете, какой ребус получился для европейских мозгов из-за того, что древние старцы провели границу между Европой и Азией по Уральскому хребту? Бедняге Киплингу приходится иметь дело уже не с русскими людьми, а с «этническими аномалиями».

Посмотрим, к чему приходит автор нашей любимой детской книжки «Маугли» дальше. Итак, он считает нас азиатами и пишет:

«В Азии слишком много Азии, она слишком стара. Вы не можете исправить женщину, у которой было много любовников, а Азия была ненасытна в своих флиртах с незапамятных времен. Она никогда не будет увлекаться воскресной школой и не научится голосованию иначе, как с мечом в руках».

Голосовать без мечей мы давно научились.

Воскресная школа действительно у нас не привилась и является, по моему глубокому убеждению, символом скуки и ханжества. Но при чем здесь женщина, у которой много любовников, я, хоть тресни, понять не могу.

Ах, не надо, не надо было отделять Азию от Европы условной линией! Так неприятно читать глупости у хорошего писателя.

Однако не следует упускать из виду, что и азиаты совсем не торопятся признавать нас своими. Таким образом, мы повисаем в середине. Сидим, в некотором роде, между двух стульев.

Ну и что? Что тут плохого?

Славянофилы и западники крушили друг друга несколько десятков лет – царствие им небесное и вечный покой, избави их, господи, от вечных мук! А что от этого взаимного сокрушительства стало яснее?

Ну, не европейцы мы и не азиаты. Признаем себя осью симметрии. Это не так уж плохо. Симметрия – самый незабываемый закон Мира. Симметричны обеденная ложка, кристалл, человек, собака, акула и вся Вселенная, так как выяснилось, что у Мира есть Антимир.

Конечно, быть осью симметрии дело сложное, и потому мы стали такими сложными, что сами себя не всегда понимаем, но тут уж, как говорится, любишь кататься – люби и саночки возить...

Вот о чем я размышлял, когда наш белоснежный лайнер входил в бухту Варнека на острове Вайгач.

Что новенького я узнал об острове за те два года, что не был здесь?

Что ненцы называют Вайгач – Хаюдейя. Это означает «святая земля». А называют его так потому, что на Болванском Носу было у ненцев главное божество, главный идол – Весак. Весак означает «старик». Весак представлял собою деревянный столб, очень высокий, трехгранный, о семи лицах. Вокруг толпилось еще несколько сот маленьких столбиков. До 1828 года ненцы кормили своих богов – мазали им губы оленьей кровью. А в 1828 году ненцев всех

разом перекрестили в христиан. Правда, никто не подумал о том, как же они будут соблюдать посты, ежели питаются они сплошь мясом. Вышла неувязка, которую никто никогда развязать не пробовал. Известно только, что в свое время бежали на Новую Землю христиане-староверы и что все они чрезвычайно быстро померли от цинги, ибо посты соблюдали со староверской свирепостью...

Утром, обозревая бухту Варнека, я убедился в том, что очередная эпопея по перегону речных судов в реки Сибири в самом разгаре. На рейде обоймами, как сигареты в портсигаре, лежали на якорях очередные СТ и рефрижераторы. Они ждали ледоколов. Наверное, там были и мои товарищи, с которыми мы гнали эти СТ в шестьдесят четвертом году. Но не было возможности к ним добраться.

А на берег я съехал с группой туристов. И ощутил ту странность, прекрасность литературской судьбы, которая перемешана в то же время с искусственностью и театральностью.

На знакомом кладбище все так же посвистывал ветер в выветренном камне. И так же привольно и далеко виднелось отсюда. И лаяли внизу псы, и чавкала под ногами ржавая тундра. И я увидел новую могилу, городскую, цивилизованную, – граненая, аккуратная каменная плита и знакомая надпись: «Леднев Александр Иванович. Старший помощник п/х „Правда“».

Два года назад в холмик могилы Леднева была воткнута металлическая труба и на металлической дощечке была выбита зубилом надпись. Так его похоронили когда-то матросы – лучше они не могли.

Зимой я получил письмо: «Мой брат – Александр Иванович Леднев – похоронен на острове Вайгач, но я считала, что его могила не сохранилась. Сейчас, когда я прочитала Ваши очерки в журнале „Знамя“, я узнала, что могила до сих пор уцелела. И я хочу осуществить свою мечту – посетить брата и обновить его могилу...»

Конечно, я поехал к Евдокии Ивановне и попробовал отговорить ее от этой затеи. Не так-то безопасно отправиться пожилому человеку на край света.

И вот судьба опять занесла меня сюда, и я увидел могилу, которую устроила здесь сестра своему брату. Все это было странно, трогательно, и немного жаль было дощечки со следами матросского зубила.

Мы спустились в поселок. И маленький ненец встретил нас у крайнего домика. Маленький ненец, как и положено, был привязан сыромятным ремнем к колу – чтобы он не мог удрать в тундру, загулять и заблудиться там. Его отчий дом был пуст. Вероятно, родители ушли на рыбалку или на охоту.

Мы немного постреляли из карабинов в пустые консервные банки, промочили ноги и вернулись на судно.

Круиз заканчивался: до Мурманска оставалось только одно-единственное море – море Баренца.

В Мурманске я задержался на теплоходе, ремонтируя чемодан.

Пришел капитан. О нем коллеги писали: «Молод, держится просто, по-настоящему интеллигентен, серьезно начитан, и есть в нем обаяние подлинной морской косточки. Никто никогда не видел капитана поднимающимся по трапу с рукой на поручнях».

Коллегам, конечно, невдомек, что за трап на судне надо держаться обязательно. Дело не в твоей собственной шее. Ее, если хочешь, можешь ломать; но, падая, ты угробишь другого, который шею ломать не хочет. И еще интересно: чем подлинная морская косточка отличается от липовой?

– Слушай, паренек, брось дурить, не уезжай, – сказал капитан. – Что тебе делать дома? Совсем ты разложился – из койки не вылезает! Пора тебе встряхнуться... Диплом штурманский с тобой?

– А что ты, паренек, предлагаешь? – спросил я. Капитан был на год меня моложе. Мы еще были тезки. – Надо ехать, отчет писать для «Литературки». Я им восемьдесят пять рублей должен. У них главбух такой волосан, что душу вывернет.

– Мы через недельку снимаемся к самому Нью-Йорку, на Джорджес-банку. Рыбаков повезем, подменные экипажи на траулеры, – сказал капитан и скривился: у него болел гастритный живот. – Четвертый штурман в отгул выходных дней идет. Сдавай техминимум, проходи медкомиссию. Визы не надо – без заходов идем... Никакой главбух тебя в океане не поймает...

– Рано или поздно возвращаться надо... – сопротивлялся я. – Коллеги уже материалы сдали и гонорар получили...

– Плюнь ты на материалы. Смотри! – И он показал мне известную газету, где была заметка о нашем путешествии и фотография теплохода. На борту явственно виднелась надпись: «Вацлав Воровский».

– Наш это теплоход или нет, а, паренек? – спросил капитан.

Я разглядывал долго, чувствуя подвох, но сказал:

– Да.

– Нет, – грустно сказал капитан. – Это однотипное судно, здесь ты прав. Только не «Воровский». Видишь носовой штаг?

– Ну?

– А у «Воровского» штага нет. Я как приехал в ГДР судно принимать, так сразу штаг срубил – вид портит... Туфта эта фотография. – И капитан вздохнул, потер живот. Ему почему-то хотелось видеть в газете именно свое, настоящее судно.

На душе было пасмурно, ибо статья не получилась. Да и может ли получиться статья о неуважении к самому себе? И я сказал:

– Есть, товарищ капитан! Мне только надо повторить «Правила по предупреждению столкновения судов в море».

Морской экзамен

1

Белоснежный лайнер «Воровский» стоял у пассажирского причала порта Мурманск, нацелив свой острый нос прямо в двери ресторана «Морской вокзал». В ресторане досиживали отчаянные рыбаки. Они отправлялись к берегам Северной Америки на четыре месяца.

Окно моей каюты было открыто. За окном был отлив и мокрый снег. Пахло морской гнилью. Далеко и близко гудели паровозы, пароходы, теплоходы и электровозы.

Передо мной на столе лежали отходные документы, пачки паспортов и "Распоряжения о подготовке к отправке подменных команд для больших морозильных траулеров в район Джорджес-банка "...

Одиннадцатого октября 1966 года собрать личный состав траулеров для проведения инструктажа... Личному составу сдать паспорта и санитарные книжки четвертым помощникам капитанов... Капитанам траулеров проверить и подписать судовые роли... 12 октября в 23.00 закончить досмотр теплохода «Воровский» пограничными властями... Теплоход должен выйти в рейс 13 октября 1966 года в 01.00...

На все предотходные сутки меня, конечно, засунули вахтенным помощником. Потому я и сидел в каюте, нюхая запахи отлива, подставляя волосы под мокрые снежинки, залетающие в окно, слушая гудки и разные судовые звуки. Остальные штурмана удрали в город Мурманск, чтобы попрощаться с женами или другими подругами.

На причале шумели моторы грузовиков и директор нашего ресторана Жора: пришло приказание сдать с теплохода весь запас спиртного, который остался от арктического туристского рейса. Весь коньяк и «столичную», не выпитые любознательными туристами, директор ресторана Жора выгружал в автофургоны вместе с некоторой частью своего сердца, ибо спиртное, как известно, наиболее способствует выполнению ресторанных планов.

Наше плавание к берегам Северной Америки начальство считало нужным сделать «сухим». Начальство считало правильно: рыбаки – не дети, особенно когда им будет нечего делать в пути и их триста человек, а в перспективе четыре месяца работы в океане без единого захода в порт.

Моя дорога много раз в жизни пересекалась с рыбаками, хотя я никогда не видел их в работе; никогда не видел изнутри траулера, живущего обыкновенной жизнью, ловящего рыбу.

Я видел, как рыбаки тонут, когда служил на спасательном корабле. Я дважды провел на Дальний Восток рыболовные суда Северным морским путем и сдавал их на Камчатке и во Владивостоке рыбакам. Теперь у меня был шанс посмотреть на то, как рыбаки ловят рыбу у берегов Америки, как делается рыбий жир.

Большинство детишек не любит рыбий жир. Я просто ненавидел. И вот в блокаду мать нашла среди склянок домашней аптечки пузырек с остатками этого жира. Пузырек был прополоскан кипятком, и кипяток превратился в благоухающую уху. Какое счастье – уха среди замерзшего города и смерти!

Ученые говорят, что войны играют решающую роль в сохранении рыбных запасов. В период проведения боевых действий ловить рыбу и добывать рыбий жир, естественно, опасно, ее вылов сокращается, и она успевает за время войны опять размножиться. Так было в Первую мировую войну и во Вторую.

Но если раньше рыбам было выгодно, когда люди дрались, то от третьей мировой войны им лучше не станет – радиоактивность для всех существ на свете есть радиоактивность...

Витамины рыбьего жира вытаскиваются из моря планктонными существами диатомеями. Другие планктонные существа, названий которых я не знаю, съедают диатомей. Мойва съедает их, а мойву больше всего любит треска. Из печени трески вытапливается рыбий жир. Треску ловит те парни, которые допивают сейчас в ресторане Морского вокзала и наивно думают, что на борту лайнера «Вацлав Воровский» они смогут опохмелиться.

Уже неделю я был не спецкором «Литературки», а четвертым помощником капитана, но отрешиться от литературы полностью еще не мог. Готовясь к рейсу, я листал лоции Северной Атлантики и книгу Гуревича «Походы викингов». Было интересно сравнивать современные лоции с маршрутами древних норманнов. Кроме того, как-то удивительно вовремя я услышал по радио «Песнь о вещем Олеге» в очень хорошем исполнении. И вот древние норманны, вещий Олег, Пушкин, скорый уход в море, старые записи в записной книжке – все это смешалось в нечто общее, в такую смесь, которую следовало зафиксировать.

Я знал, что в плавании уже не будет возможности заниматься литературой. И теперь, за несколько часов до отхода, строчил:

"Пушкин никогда не был за границей – царь боялся его выпустить, дать ему визу. Еще бы! Достаточно одного «Годунова»!

Уверены ль мы в бедной жизни нашей!

Нас каждый день опала ожидает,

Тюрьма, Сибирь, кlobук иль кандалы,

А там, в глуши, голодна смерть иль петля.

Каково царю было читать этот шедевр! Главная ставка умного царя – на короткую людскую память. Цари не любят, когда подданные начинают копаться в истории. Пушкин копался в ней всю жизнь...

Он резвился. Он называл Иисуса Христа «умеренным демократом»: «Я... написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа». Он озорничал с обаянием неповторимым: «В довершение всех бед и неприятностей только что скончался мой бедный дядюшка Василий Львович. Надо признаться, никогда еще ни один дядюшка не умирал так некстати». Это Александру Сергеевичу пришлось отложить долгожданную свадьбу на полтора месяца.

Он взял эпитафией к первой книге: «В раннем возрасте воспевается любовь, а в позднейшем – смятение». Ныне, по мнению многих, наш мир вступает в зрелость. Посмотрим, хватит ли миру сил разрешить себе смятение.

Пушкину ничего не стоило начертать пером на бумаге «дернуть к тебе» – в смысле «уехать к тебе». И это – в океане вельможно-французской речи!

«Ах, ах! – вздыхаем мы. – Удел талантов – мучиться творческими поисками и сомнениями!»

Я что-то не слышал, чтобы Чехов или Пушкин мучились творческими сомнениями и поисками. Пушкин даже кричал после «Годунова»: «Ай да я!» Он мучился не творческими сомнениями, а тем, что жена слишком кокетничает и царь подслушивает. Любовь и честь его мучили и домучили. Гении мучаются чаще самою жизнью, а не творчеством.

Почему-то чужая исповедь необходима миллионам других, она почему-то укрепляет их души. Но только гении обладают той степенью бесстрашия, которая необходима в исповеди. Остальные боятся того, что называется «общество», подлаживаются под него, сами зачастую не замечая, думая, что они воюют с ним.

Литература у меня в школе преподавалась из рук вон плохо. Двадцать четыре года потребовалось «Вещему Олегу», чтобы из мертвеца превратиться – в моей голове и душе – в удивительную картину древней русской жизни, в поэму мудрости и величия, в вешего Олега и его коня, и его дружину. И все потому, что «Вешего Олега» заставляют учить в школе наизусть.

Вот какие свежие истины формулировал я, когда появилась уборщица Валя. У нее не было передних зубов и верхняя губа западала по-старушечьи, хотя сама Валя была совсем молодой. Она властно прервала мои литературные занятия.

– Стучать надо, красавица, – сказал я. – И ты не очень вовремя.

– А вы должны койку как следует заправлять, а не просто одеялом прикидывать, – огрызнулась она беззубым ртом.

– Ты когда родилась?

– В сорок пятом, а что?

– А я в двадцать девятом. И за что тебе зубы выбили?

– Мне не выбили, мне гланды вырезали, а зубы мешали.

Я даже восхитился такой явной ложью.

– Ты их давай-ка вставь, а то неудобно как-то.

– Меня и так любят.

– Кто тебя любит? Ты замужем?

– Разведенная.

– А дети?

– Ой, таракан! – завизжала она и отшвырнула кишку пылесоса. – Я их боюсь.

Она, очевидно, так кокетничала.

– Ты не забывай окна мыть, – сказал я. – Видишь, сколько на них соли.

– У меня дочка есть, – сообщила она, подняла кишку и поймала в нее таракана.

Таракан исчез в пылесосе. И я, конечно, представил, как ему темно и безнадежно стало. Обычно я обнаруживал тараканов в графине с питьевой водой – у графина не было пробки, а насекомые хотели пить. Я выливал их в умывальник и открывал кран. Тараканы стойко боролись, но струя смывала их. И мне было как-то совестно за то, что выпускаю тараканов в одиночное плавание. Но я ничего не мог поделать. Очевидно, до меня в каюте жил штурман, который держал здесь еду. На судах нельзя держать еду в шкафу или ящике стола – сразу заведутся тараканы.

– Сколько классов?

– Десять.

– Чего дальше не училась?

– Я курсы на кондитера кончила.

– А зачем плавать пошла?

– Романтика! – опять огрызнулась она.

Я давно заметил, что наши уборщицы не любят, когда во время уборки на них смотришь. Они испытывают раздражение от своей работы, они не любят ее.

2

Вещий Олег был родственником Рюрика. Норманнское происхождение первого русского князя чрезвычайно раздражает наших историков. Потому некоторые считают его литовцем, а некоторые чистокровным русаком...

Гуревич пишет, что викингов привела в Исландию, затем в Гренландию, затем на Ньюфаундленд цепочка родственных убийств. (Что все-таки ведет к Ньюфаундленду меня?..)

Дочь Эйрика Рыжего не захотела отстать от отца и брата. Она тоже совершила плавание из Гренландии в Америку. Ее звали Фрейдис. И командовала она двумя кораблями.

Как и прежние попытки колонизации Ньюфаундленда, попытка Фрейдис не удалась по одной простой причине – колонизаторы (уже на земле) ссорились, дрались и царапались из-за немногих женщин. Фрейдис это надоело. Она вспомнила своих убийц-предков и навела поря-

док: убила двоих главных помощников. Но это не помогло. Тогда Фрейдис убила немногочисленных женщин.

Порядок настал, но настала и скука.

Колонисты сели на корабль и уплыли обратно – в Гренландию...

Тут я, конечно, художественно представил древних викингов-переселенцев, как они приплыли к незнакомой земле...

Белые вершины гор, глубокие и узкие ущелья, в которых белели водопады, и равнины, зеленеющие травой... Они все плыли и плыли вдоль берегов, испытывая сложные чувства раздвоенности, растроенности или даже расчетверенности. Им все казалось, что за следующим мысом земля будет прекраснее.

Киты пускали фонтаны, резвились дельфины. Торжественно мерцали обломки айсбергов.

И наконец кормчий велел бросить за борт деревянный обрубок с изображением их дикого языческого божества.

Божество закачалось на волнах, медленно двигаясь к неведомым берегам. И кормчий приказал спустить парус. Мягкие складки синей шерсти накрыли гребцов с головой. Гребцы выбрали и уложили парус внутрь корабля, потом разобрали весла. Щиты, укрепленные за бортами, стукались друг о друга, и звенели, и блестели на незаходящем солнце отраженным светом, как луны.

И все люди смотрели вслед качающемуся на зыби обрубку дерева. Заржали, почуяв землю, кони, привязанные веревками к мачте. И заревел бык, и замычали коровы, уставшие от моря. И женщины, прижимая к груди детей, запели молитву деревянному богу. Они молили указать лучший кусок земли, потому что отныне эта земля станет родной навеки.

Обрубок вертелся в прибойной воде, среди пены и брызг, потом море вышвырнуло его на камни.

Кормчий вытащил из ножен огонь битвы – меч – и указал на камни: «Здесь!»

Никто не вышел встречать их, никто еще не жил на этой земле, она была пустынна, загадочна, но тверда и зеленела травой. И значит, здесь витали чужие духи. Их не следовало злить и тревожить. Потому кормчий велел срубить с носа корабля изображение их родного бога и спрятать его под синий парус.

Они отделили голову своего бога от штевня, и, кряхтя от натуги, звеня кольчугами, уложили его на дно корабля, и укрыли парусом.

Потом навалились на весла и выкинули корабль на берег.

Первыми вылезли женщины и вынесли детей. Они стояли на земле и качались, отвыкшие от тверди под ногами. Ветер дул с гор, приносил запах льда. Журчал ручей, и слабый звук его журчания пробивался сквозь шум морского прибоя.

Кони били копытами и рвались.

Коней вывели, впрягли их в корабль, и кони вытащили корабль далеко на берег – за дальний след штормового наката.

И чуть отдохнув, переселенцы пошли делить новую землю.

Каждому мужчине было положено столько, сколько обойдет за день с факелом в руке, поджигая на границах своей земли костры. Каждой женщине было положено столько, сколько обойдет за день, ведя в поводу корову...

Мой творческий процесс прервал директор ресторана Жора.

Он был красен и зол.

И сообщил, что у него не хватает шести «кадров» – поваров, корневиц, официанток.

– Куда они делись?

– Зарезали их, Викторыч! – сказал Жора и схватился за голову.

– Где? – с некоторой тревогой спросил я, потому что все-таки был вахтенным помощником капитана.

– В санинспекции!

Это меня не касалось. Если бы их зарезали на борту, то это было бы уже другое дело.

– Как-нибудь обойдешься, – утешил я Жору. – В первый раз, что ли?

– И кладовщица на аборт легла! Утром еще молчала! – сказал Жора.

– Как придет старпом, я ему доложу, – сказал я и засмеялся.

– Чего тут смешного? – взорвался Жора.

Я коротко рассказал ему о Фрейдис, о переселенцах, норманнах, о том, как они ссорились из-за женщин и даже убивали их, чтобы жить спокойно на море и возле моря.

– Значит, уже тысячу лет женщины приносят неожиданности морякам, пора привыкнуть, паренек, – заключил я.

– Пошел ты к чертовой матери! – заорал Жора и сам куда-то ушел.

А я продолжал заниматься древними викингами, выписывал из книги Гуревича занятные цитаты и сопровождал их своими собственными глубокомысленными рассуждениями.

Если правда то, что мысль становится материальной силой, овладевая массами, то слово, вероятно, становится материальной силой, овладевая человеком.

Именно это упустил вещий Олег из виду, когда пихнул ногой череп своего коня. Он презрел веру предков в магию слов, в правдивость и мудрость народа, – ведь волхвы вещали от имени самого народа.

Волхвы не боятся могучих владык,

А княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен...

.....

Кудесник, ты лживый безумный старик!

Презреть бы твое предсказанье...

И вскрикнул внезапно ужаленный князь...

Интересно, что стихи называются «Песнь о вещем Олеге», но и еще один раз употребляет Пушкин слово «вещий»: «Правдив и свободен их вещий язык».

Здесь я решил поставить точку, потому что услышал два судорожных звонка – вахтенный у трапа вызывал меня на палубу.

Я надел форменную фуражку, одолженную у капитана, – в нее легко помещались и оба моих уха, приосанился и пошел на зов.

Вахтенный матрос доложил, что слышит сильный запах дыма. Я тоже услышал запах дыма. «Не хватало еще пожара», – подумал я. И отправился по застекленной пассажирской палубе, шмыгая носом.

Горели всего-навсего окурки в мусорной урне. Я послал матроса за кружкой воды.

Снег кружил у фонарей на причале. Со старика «Репина», который стоял напротив, выгружали мокрые тюки. Привычно хлюпала между бортами вода. Левее «Репина» мерцали сквозь снег городские огни. И вдруг я подумал, что уже отрешился от берега. Мне уже не хотелось сойти с трапа, отправиться в город. Это особенное чувство – отрешиться от берега, его забот и соблазнов, потерять к земле и всему земному интерес. Не на словах потерять интерес, а на деле. С таким ощущением, должно быть, закрывали за собой монастырские двери настоящие, истинные монахи. Это какое-то цельное, хорошее, чистое ощущение, но с примесью грусти, конечно, – ощущение близкого ухода в море.

Я уже знал, что пойду к берегам Америки не раз и не два. Я решил поплавать дольше – до весны.

Поднялся по трапу занесенный снегом человек, велел убрать с причала разбитые ящики – тару.

– Вы-то уйдете, а мне с ними что делать?

Он был прав – разбитые ящики были наши. Я вызвал боцмана-дракона, и мы с ним в четыре руки перекидали ящики за борт, чтобы в море пустить их плавать по волнам.

3

Я передал привет Норвегии от ее верных матросов Тессема и Кнудсена, спящих под камнями далекого Диксона, когда мы огибали мыс Нордкап. Его зеленоватое таинственное изображение мерцало на экране радиолокатора. Я брал на мыс пеленг и мерил до него расстояние, прижавшись лицом к резиновому наморднику выносного индикатора.

С боков в намордник проникал дневной свет. В линзе экрана я видел свое лицо увеличенным раза в два. Каждую пору, и каждую морщину, и прыщик на щеке. Что поделаешь, если вдруг замечаешь свое старение, и дряблость своей кожи, и следы прощальной выпивки – и все это в двойном масштабе.

Весь рейс, склоняясь к экрану радара, я невольно думал о том, что я уже не тот, кем был. Крути не крути. А иду четвертым помощником капитана. И продуктовый отчет – на моей шее. И заявки на питание экипажа, и книга приказов... А впереди огромный простор Атлантического океана, в котором я никогда не плавал и который изучал только по логиям.

Не знаю, кто и что виноваты в том, что я не плавал в Атлантическом океане. Но не могу винить себя в этом. Уж я бы не отказался, предложи мне кто-нибудь такое развлечение. Мне удалось поглядеть на Тихий океан – остальные остались за кадром. Ледовитый океан – понятие относительное. Северный морской путь проходит по его морям. Сам Ледовитый океан реальность только для моряков атомных подводных лодок и зимовщиков на СП.

Океан и море – разные вещи. Недаром эти слова разного рода. Океан – мужчина. Море – не мужчина и не женщина. Оно именно «оно». Море принадлежит океану и является частью его, хотя обязательно имеет свой нрав, характер и свои каверзы.

В море моряк мыслит понятиями портов, проливов и мысов. В океане моряк мыслит понятиями континентов и государств: «Сейчас ляжем на Исландию, оставим Англию по левому борту и повернем на Канаду». Только летчики и главы государств еще могут так свободно обращаться с континентами. Но государственные деятели – это, конечно, не то. Они не знают, чем пахнет дорога между континентами. Такое знают только те, чьи руки лежат на штурвалах.

Недавно один большой политик – премьер Австралии – решил сам понюхать, чем пахнут дороги между континентами, – нырнул в океан с аквалангом. И не вынырнул. Интересно, что думали акулы, когда жевали премьера, и какой у него был вкус?..

Такие низкие и высокие мысли бродили в моей голове, когда я уже окончательно забросил литературу и стоял первую ходовую вахту, а белоснежный лайнер «Вацлав Воровский» огибал Скандинавский полуостров, чтобы вскоре «заложить дугу» от Фарер на Сент-Джонс.

Я, конечно, думал и о тех вещах, о которых следует думать штурману на вахте. И еще испытывал радость. Это так приятно, когда руки лежат на штурвале! Хотя это и не твои руки непосредственно лежат на штурвале, а рулевого матроса, но они как бы твои собственные. Правда, и штурвала никакого нет. Есть две гладкие, приятные на ощупь кнопки или маленький полукруглый кусочек баранки...

– Вы ко мне зайдите после вахты, – сказал капитан-наставник, разрушая высокий настрой моих мыслей и чувств. – Побеседуем об Уставе и других интересных вещах... Вы ведь давненько уже самостоятельно не плавали...

– Есть, – сказал я.

И скис, как тогда, когда узнал, что в арктический туристский рейс отправляется куча профессиональных газетчиков.

У капитана-наставника было отвратительное настроение. Он узнал, что идет в длинное, утомительное и скучное плавание к Джорджес-банке за час до того, как мы отдали концы. Он даже не успел попрощаться с женой, а жена должна была через неделю отмечать день рождения.

Должность капитана-наставника – странная должность. Делать ему толком на судне нечего, потому что существует основной, штатный капитан. А капитан-наставник должен помочь штатному капитану, ежели произойдут какие-нибудь особенные обстоятельства. В Уставе, кстати говоря, о такой должности не сказано ни слова. Так как безделье томит даже ленивых людей, капитан-наставник начинает придумывать для всех на судне экзамены, играть тревоги и записывать неизбежные грехи и промахи в книжечку-кондуит. От скуки капитаны-наставники любят путать штурманов хитрыми, каверзными вопросами. Они, например, могут спросить: «Охотник вышел из своей хижины на охоту и прошел на зюйд десять и три четверти мили, потом он повернул к весту и прошел еще десять и три четверти мили. Здесь охотник увидел медведя и стрелял в него. Медведь побежал на чистый норд и упал мертвым возле хижины охотника. Как зовут этого медведя и где находится хижина охотника?»

Восьмиклассник сразу ответит, что медведя зовут Белый, а хижина находится на Северном полюсе. Но штурман на то и штурман, чтобы серьезно задуматься над этой историей. В голову лезут квазикоординаты, ортодромии, гномонические проекции и черт-те знает что.

И ляпнешь такую чушь, что потом не спишь две ночи от стыда.

Все может спросить капитан-наставник. Он может поинтересоваться тем, каковы обязанности вахтенного штурмана, если впереди по курсу разорвалась в дистанции тридцать миль атомная бомба на глубине пятидесяти метров. Ты, конечно, можешь ответить популярным анекдотом, что надо переодеться в чистое белье и медленно ползти на кладбище. Но он спросит: «А почему именно медленно ползти?» И если ты не знаешь, что ползти надо медленно, чтобы не вызвать лишней паники, то получишь двойку по спецподготовке и тебя не пустят в рейс. Вот что такое капитан-наставник, и вот какие он может задавать вопросы.

Я спустился в каюту и еще раз полистал Устав. Как всегда, бесчисленные пункты «обязан» смешались в кучу.

«Устав плавания на судах советского морского флота» – прекрасная вещь. В нем опыт аварий и недосмотров, которые случались и чуть было не случались с десятками поколений моряков. Именно поэтому никто запомнить Устав не может. Устав можно помнить и стараться исполнять исходя из главных сутей. Но когда надо сдать экзамен по Уставу, ты становишься в тупик. Или, как моряки говорят, упираешь рога в переборку. Ты, например, забудешь упомянуть, что при стоянке на якоре надо следить за якорем. Это не значит, что когда ты в самом деле стоишь на якоре, то тебе на это наплевать. Но на экзамене это пропустишь. Или не доложишь, что в случае опасности ты обязан принимать против этой опасности меры. Хотя только кретин не принимает мер против опасности, которая ему грозит. Или ты перечислишь все виды информации, которые следует получить у сдающего тебе вахту штурмана: о берегу, своих огнях, встречных судах, погоде, видимости, прогнозах, предупреждениях, приказах капитана, но не скажешь о «распоряжениях по вахте», то есть о том, что повара надо пихнуть под ребро в шесть ноль-ноль по Гринвичу. И ты опять спекся.

Недаром Петр Первый велел:

Читай Устав на сон грядущий!

И поутру, от сна восстав,
Читай усиленно Устав!

Однако российский народ коротко ответил царю пословицей: «Жить по уставам тяжело суставам».

Без энтузиазма я переступил порог шикарной каюты-люкс, в которой жил капитан-наставник.

Приемный холл каюты выходил окнами на корму и оба борта променад-дека. За синими, вечерними стеклами окон виднелся, белел наш кильватерный след. В спальном отделении каюты стояли две широкие, роскошные кровати. Вероятно, лишняя кровать неприятно действовала на капитана-наставника, напоминая ему о дне рождения супруги.

Сам наставник сидел у стола и барабанил пальцами по Уставу. Звали наставника Борис Константинович Булкин. Он был, конечно, не молод, но и далеко не стар, сух, подтянут, имел губы тонкие, насмешливые; имел еще лысину, довольно уже порядочную.

– Итак, – сказал он, – вы, четвертый помощник, – писатель? Садитесь, пожалуйста.

Я сел и ощутил сухость во рту.

– Это имеет какое-нибудь отношение к будущей экзекуции? – спросил я. Я уже давно заметил, что звание «писатель» означает в глазах нормальных людей нечто совершенно несовместимое с серьезным знанием чего-нибудь конкретного на свете.

– Да, – сказал наставник. – Имеет. Если вы писатель, то на кой черт вас несет в этот рейс?

– Иногда полезно проветрить мозги, – сказал я. У меня зрел план. Я хотел попытаться завлечь наставника в «травлю». Мало на свете моряков, которых нельзя «затравить».

– Чего вы тут проветрите? В таком рейсе мухи сдохнут от скуки.

– Ну что вы! – сказал я. – Ведь это опасный рейс! Поздняя осень. Атлантика... Я недавно читал, что в пятьдесят девятом возле Гренландии погиб «Ганс Гедтофт», датское судно, ультрасовременное, построенное специально для плавания в высоких широтах зимой, с двойным дном, с ледовой обшивкой, со знаменитым полярным капитаном Расмуссенем во главе. Они трагически исчезли в океане, успев дать одну радиограмму: «„Ганс Гедтофт“ в шторм столкнулся с айсбергом»... Вы слышали об этой истории? Уже через час на месте гибели спасатели ничего не обнаружили... Может быть, вы знаете какие-нибудь подробности?

– Слава богу! – немедленно оживившись, сказал Борис Константинович. – Я шел тогда из Монреаля на Кубу. С этим «Гансом» погибли тринадцать ящиков национального архива, направленные в Данию на вечное хранение. Документики с 1760 года и до наших дней... И между прочим, со всеми пассажирами и командой погиб один умный член датского парламента от Гренландии. Он всегда восставал против использования пассажирских судов в гренландских водах в январе, феврале и марте. Его, естественно, считали ретроградом... Н-да, но сейчас октябрь, и мы пойдем южнее, много южнее... Так почему вас понесло в этот рейс?

Я чувствовал, что какая-то брешь пробита. Я верхним чутьем чуял, что можно попытаться увлечь наставника в сторону от Устава.

– Если совсем честно, то мне на время надо было уйти в кусты, смыться, – сказал я.

– Вот уж чего бы я никогда не сделал, если бы был писателем, так это не отправился бы в такие кусты, как этот рейс, – с космическим упорством сказал наставник. – В чем все-таки причина?

Смешно было объяснять ему, что я не написал статью об арктическом туризме. «Где моя фантазия? – подумал я. – Беллетрист я или...» И вдруг вспомнил лопнувший чемодан и ощущение мужчины без ремня на брюках.

– Понимаете, – услышал я свой голос как-то со стороны. – Если честно, то... Я, Борис Константинович, убил человека... Вернее, он из-за меня погиб...

– Так бы сразу и говорили, – с удовлетворением сказал наставник. – Подробности помните?

– Конечно, – вздохнул я. – Он писал научно-фантастические романы. И печатался под псевдонимом Бессмертный. Он умер в подмосковном Доме творчества писателей. Вернее, я его там и убил. Понимаете, Борис Константинович, я не умею покупать себе вещи... Бессмертный погиб из-за моих подтяжек... Я купил их на Белорусском вокзале, когда ехал в Дом творчества писать рассказ о море. Я не знал, что подтяжки бывают и для детей. Мне всегда казалось, что подтяжки необходимы только таким мужчинам, как я, у которых брюки куплены без примерки и оказались здорово длиннее, или толстобрюхим мужчинам. Однако дети тоже могут нуждаться в подтяжках. На этом я, вернее Бессмертный, и погорел. Надо было завести детей, узнать тайны их одежек. Тогда он жил бы и до сих пор. И творил о бесконечном могуществе человеческого разума. А он трагически погиб, как «Ганс Гедтофт», и похоронен вдали от родины...

– Откуда он родом? – сурово спросил капитан-наставник.

– Из Душанбе, – ляпнул я и не моргнул глазом.

– Продолжайте, – сказал наставник и опять забарабанил пальцами по Уставу.

– Ну вот, приехал я в Дом творчества, пристегнул подтяжки и потянул их на плечи. Но ничего не получилось...

– Брюки резали в паху?

– Так точно. И тут прочитал на упаковке: «Детские». Я начал морскую службу с шестнадцати лет, – мимоходом ввернул я, – и знаю, что любую снасть можно удлинить или укоротить. Намочил подтяжки горячей водой в умывальнике и натянул на батарею парового отопления: пропустил тросик через грудные и спинные петельки, уперся в батарею коленом – как упираются в бок лошади, чтобы затянуть подпругу, – и деформировал резину, насколько позволяли мои силы...

– Не надо было упираться, – резко сказал наставник.

– Возможно, – послушный, как ягненок, согласился я. – Несколько раз я вспоминал о подтяжках и выбирал образующую от постоянного натяжения слабинку... Ну а потом так увлекся творчеством, что мне стало наплевать на брюки, на то, что они висят, как траурный флаг. Я забыл о растянутых до напряжения луковой тетивы детских подтяжках. И уехал из Дома творчества. И вот узнал, что Бессмертный погиб. Он, понимаете ли, занял мой номер...

– Что говорят свидетели?

– Три свидетеля утверждают, что в момент смерти Бессмертного слышали выстрел. «Около часа ночи я услышала над головой сильный звук, который напомнил мне взрыв японской мины образца пятого года», – показывала следователю писательница Константинопольская. Она занимала комнату под Бессмертным, страдала бессонницей и писала мемуары об обороне Порт-Артура; о том, как она еще молоденькой, гибкой девушкой щипала корпию в госпитале. К моменту гибели Бессмертного ей как раз исполнялось восемьдесят три года. Всю свою длинную жизнь не покладая рук трудилась в детской литературе...

– Мужские свидетели были?

– Писатель Выгибин, живший в номере правее Бессмертного, утверждал, что около часа ночи ему в стенку выстрелили из обоих стволов охотничьего ружья жаканами. Выгибин как раз писал очередной рассказ про медвежью охоту для «Огонька»... Левый сосед покойного был критиком. Он ничего той ночью не писал – просто спал. Но сквозь сон явственно слышал выстрел из «какого-то огнестрельного оружия с тупым дулом» – так он выразился... Верхний сосед Бессмертного оказался молодым поэтом. Поэт заявил, что видел за окном фосфоресцирующий след и слышал характерный для праздничных салютов звук...

– Что дал осмотр трупа?

– При внешнем осмотре трупа никаких следов ранений огнестрельным или холодным оружием найдено не было. Бессмертного увезли в соответствующее место и сделали вскрытие. Патологоанатом установил, что фантаст погиб от испуга. Но следователь еще раньше установил, что комната потерпевшего была закрыта изнутри. Следов пуль, оружия и так далее тоже не было обнаружено. Следствие зашло в тупик. Там оно и стоит.

– И будет стоять еще долго, как я считаю, – сказал наставник.

Только Агата Кристи и я могут внести сюда ясность и вывести следствие из тупика, Борис Константинович. Дело в том, что на полу номера были найдены куски детских подтяжек. Батарея была позади писательского кресла. Когда я жил в номере, было еще тепло и пар не давали. Потом похолодало, и в батарее дали пар. Представьте себе Бессмертного. Как он выпил вечерний кефир, поднялся в номер, закрылся на ключ. И уединился за столом, слушая слабое шебуршание кефира в желудке. И замечтался о будущем, когда его роман о могуществе человеческого разума будет закончен: небось фантасту представилось, как он едет на такси в издательство сдавать книгу – три папки, шестьдесят листов.

– Как вам платят? – перебил меня наставник.

Я чуть не выругался, потому что увлекся рассказом, а весь эффект концовки теперь пропал. Я, черт возьми, должен был знать, что нет такого читателя, которому не была бы самым интересным в рассказе о писателе сумма гонорара.

– Триста за авторский лист и потиражные, – сказал я. – И вот вокруг фантаста сгушалась ночная тишина, за окном падали снежинки, в батареях пробулькивал пар...

– А что такое «авторский лист»? – спросил наставник.

Господи, какой же читатель не спросит у живого писателя об авторском листе? И какой писатель (живой писатель) знает толком, что это такое? Это знает кто-то там, в издательских и типографских шхерах...

– Двадцать четыре страницы на машинке, – сказал я. – И вот вокруг сгушалась ночная тишина, за окном падали снежинки, в батареях пробулькивал пар... И тут в затылок ему выстрелили мои подтяжки: резина не выдержала теплового перепада – лопнула... Не каждый человек герой. И когда тебе стреляют в затылок ночью, то сердце может не выдержать...

Наступила томительная пауза. Кто знает состояние рассказчика, у которого не получился рассказ или не прозвучал анекдот, тот меня поймет. Нет омерзительнее состояния.

За ночными, черными стеклами каюты смутно белел кильватерный след. Мерно качалось судно, мерно били копытами тысячи лошадиных сил. Мы мчались по восемнадцать миль в час.

– Ну-с, – сказал наставник и побарабанил пальцами по Уставу, – и кто виноват?

– Не знаю, – уныло сказал я. – Давайте переходить к делу... Итак, «обязанности вахтенного штурмана на ходу»? Или «звуковой сигнал парусного лоцманского судна в тумане»?

– Виноваты женщины! – твердо, без тени улыбки, сказал наставник. – Это они вас, очевидно, не любят. Потому вы не женаты, не знаете тайн детских одежек. И сами покупаете подтяжки. Виноваты женщины. И нечего вам было пугаться и драпать за океан. У вас какое образование?

– Высшее военно-морское штурманское.

– Будь оно неладно, это высшее образование! – сказал наставник, устраиваясь в кресле поудобнее и закуривая. Минуту назад он дал понять, что попытки увести его в сторону от дела обнаружены, разоблачены. Но он не собирался меня наказывать. Наоборот, начиная собственную «травлю», он приобщал меня к океану, который все шире разваливался, распространялся вокруг. Плевать он хотел на параграфы Устава. Его смутно беспокоило присутствие на судне штурмана-писателя. Теперь этот штурман-писатель был поставлен на свое место. Теперь можно было заняться «травлей» от души, по настроению, со вкусом. Ибо хорошо иногда иметь собеседника, который умеет слушать.

– Будь оно неладно, это высшее образование! Недавно пошла на него мода. И вот вызывают в пароходство морских волков – ветеранов флота, тех капитанов, на которых кит стоит, и намекают: пора вам, парнишки, подучиться. А парнишки сидят седые, войну отвоевавшие, все моря обнюхали. Я самым молодым оказался. Образование, конечно, у каждого есть, но, понимаете ли, среднее техническое. Считалось, у моряка главное не фундамент из высшей математики и химии, а – опыт. Каждый дурак понимает, что чем выше образование, тем оно и лучше, но тут многое зависит от путей и методов. А нас единым чохом подвели под категорию пацанов, которые после десятого класса поступают в институт или, предположим, в университет. То есть должны мы сдавать вступительные экзамены по программе аттестата зрелости. Ну, народ подобрался, конечно, мужественный и к приказам привыкший: «Надо – значит надо!» Все спокойно согласились на эти экзамены, потому что никто знать не знал, что они из себя представляют. Никогда не забуду, как мы на первое занятие подготовительных курсов сошлись и сели. Шуточки, думаем. Сейчас нам по тригонометрии пару вопросиков, по Евклидовой геометрии, по морской астрономии. Ждем, войдет в аудиторию наш коллега, моряк, которому больше нас повезло и он уже высшее образование получил, ну и поучит нас уму-разуму. Н-да, только входит девица лет двадцати двух и говорит:

– Прошу всех сесть за отдельные столы.

Мы рассаживаемся, хихикаем, оцениваем девицу, кто-то уже ей комплимент, кто-то на «Великолепную семерку» приглашает.

– Итак, товарищи аборигены, – говорит она, – прошу вас написать сочинение: «Образ Татьяны Лариной». Времени у нас с вами полтора академических часа.

Мы помолчали минут пять.

– У меня буфетчица есть Ларина, – говорит капитан дальнего плавания Згуридзе (между прочим, Герой Советского Союза).

– Не понимаю ваших шуток, – режет девица. – Начинайте, время идет!

Вы бы видели наши рожи! Как в тропический ураган попали, в «глазок бури».

Но кто-то еще дух не уронил, шутит дальше:

– Вот пускай Згуридзе и пишет про Ларину, если у него такая буфетчица есть, а у нас нет! Нам чего-нибудь ближе к суровым будням нашей действительности.

– Где и как вы учились? – спрашивает девица Згуридзе.

– По системе Дальтона.

– Не знаю такой системы, – говорит девица. Тут все мы со смеху покатались, ибо половина по этой самой системе и училась, то есть один кто-нибудь, самый башковитый, за группу сдавал экзамен, за бригаду.

– Прекратите смех, – командует девица. – Мне пароходство за вас деньги платит, за то, что я вас учить буду, и каждая минута на счету. Прошу писать о Лариной.

Потом запахло, как в предбаннике, когда туда роту саперов загоняют сразу после учения. Народ мы, конечно, культурный, «Евгения Онегина», гм, читали, но... писать о Татьяне Лариной! И смех и грех! Первые признаки гипертонии у меня тогда появились – пульсация в висках... И знаете, что интересно... как вас – Виктор Викторович?

– Да, – сказал я, – Виктор Викторович.

– Про эту девицу мы потом узнали, что ее из детской школы выгнали. Не могла она с восьмиклассниками справиться. Безобразничали пацаны на ее уроках. Вот она и уволилась. С капитанами ей проще оказалось. Так нас скрутила! Чуть что – звонит начальнику пароходства. Или забудется и кричит: «Товарищ Булкин! Без родителей на следующее занятие не приходите!» А я, между прочим, родителей еще до войны похоронил. Дневники заставила нас завести. А у вас дневник есть? Я про настоящий говорю, про писательский...

– Нет. Так только, записная книжка, сюжеты там, наброски...

Теперь мы разговаривали с ним как два человека обыкновенных. Не было четвертого штурмана и капитана-наставника. Он, вероятно, почувствовал, что работать в рейсе я буду честно, без ожидания скидок на писательскую принадлежность. А я знал, что не получу этих скидок, и был рад этому, ибо нет ничего омерзительнее творческой командировки, даже если она не оформлена бумажкой, а просто существует в некоем ореоле вокруг тебя.

Наставник встал с кресла, прошел по холлу каюты, опуская шторы на окнах. На кормовой палубе шаталось несколько рыбаков-пассажиров, глазели на нас. Потом открыл холодильник, вытащил чешское пиво.

– Знаете, Борис Константинович, – сказал я. – Писательство – не мужское дело. Чего-то не хватает. Когда-нибудь я попробую написать об этой недостаточности. Я не о том, что мужчина должен рисковать жизнью, витать в космосе, плавать, воевать, рубить уголь под землей или делать себе прививку чумы... Я о том, что в писательстве есть какая-то ограниченность, оно ведет к гибели, хотя приходишь к нему, спасаясь от нее...

– Это уж слишком сложно для меня, – сказал наставник. – Пейте пиво. И... вы про этого фантаста наврали?

– Конечно, – сказал я.

– Все-таки наврали?

Читатель есть читатель. Человек есть человек. Борис Константинович не мог поверить в то, что нечто можно выдумать от начала и до конца. Великая способность людей! Что бы без этой способности делали писатели?

– Нет. Частично, – сказал я. – Надо дольше быть мальчишкой, пацаном. Мальчишки часто врут. Но только когда врут без веры в свою ложь – это плохо.

– Наверное, наверное, – согласился Борис Константинович. – Когда мы еще гнили на подготовительных курсах к аттестату зрелости, так самое счастье было, если преподаватель заболит и не придет. Точно как пацаны, это вы наблюдательно заметили. Сидим, седые олухи, и томительно ждем – вдруг все-таки придет преподаватель историю нам объяснять. И вот если окончательно не приходит, так мы сразу начинаем в фантики играть. Или в морской бой. Или в денежку. Афанасий Петрович – царствие ему небесное и вечный покой! – нас всех обыгрывал, а был самый старый – под семьдесят уже. Мы на деньги в фантики играли... И вот ни у кого даже на пиво не остается. А старик непреклонный был – на автобус пятак еще даст, а на пиво – ни-ни!

Капитан-наставник умолк с какой-то юной и чистой улыбкой на несентиментальном лице. И я даже подумал, что это хорошо придумали начальники – заставить старых капитанов сочинение про Ларину писать, про ее чистоту и непорочность. И вот сидят старые капитаны, замирают от стука каблучков в коридоре – вдруг это все-таки преподавательница запоздавшая идет? И в фантики играют. И старик их всех обыграл. Прелесть, да и только...

– Плохо все это с Афанасием Петровичем закончилось, – вдруг сказал капитан-наставник и вздохнул. – Ясное дело, пока мы штаны в училище протирали, то от моря отвыкли. Вышел он первым рейсом уже с высшим инженерным образованием и посадил пароход у Териберки на камни. Нервы не выдержали – он и помер, наш чемпион по фантикам... Конечно, после зауми, химии разной – ну скажите, зачем химия? – нас к мостику и близко подпускать нельзя было... Сколько лет потеряли! Сколько средств!

Тут в дверь постучали и вошел штатный капитан – мой тезка. Он глянул на меня с тревогой и беспокойством. Экзамен, оказывается, продолжался уже второй час. И кэп пришел меня спасать из лап наставника. Но виду, что пришел меня спасать, конечно, не показал.

– Неприятности, – сказал тезка. – Посоветоваться надо, Борис Константинович.

– Что такое?

– Больной объявился. Эпилептик.

– Сейчас разберемся, – сказал наставник, но оторваться от наболевшей темы, от того, как он высшее образование получал, сразу не смог. И продолжал: – Когда мы приехали уже в Ленинград и сдавали там вступительные экзамены, то дочек и сыновей заставили агентурную разведку производить, чтобы заранее тему сочинения узнать. И они выяснили, что будет свободная тема про революцию и «Во весь голос». Мы, ясное дело, к свободной теме склонились – сколько политзанятий позади, сколько раз «Краткий курс» изучали... И знаете, какая сверхъестественная вещь случилась?

– Ну? – сказал я. И взглянул на тезку, тот мигнул мне: мол, как ты, штурман? Он тебя экзаменами замучил? Держись, паренек! Сейчас мы это дело на эпилептика переведем и твою хилую душу на покаяние отправим, на отдых...

– Дали одну и обязательную тему: "Образ Татьяны Лариной в бессмертном произведении «Евгений Онегин» ! – Наставник засмеялся нервным смехом и продолжал: – Нас пятнадцать капитанов тогда из сорока осталось. Из этих пятнадцати четверо встали, замычали и пошли из аудитории прямо, простите меня, в кабак!.. И что там с больным?

– Медики докладывают: один из рыбаков, утилизатор, молодой парень, впал в эпилептический припадок. Надо в Москву радировать и на Берген заворачивать. Куда ему на промысел, на четыре месяца!

– Ну, Берген или другой иностранный порт вы только в бинокль увидите, – сказал наставник. – Для того я тут и гребу с вами. Сообщите в Москву, пусть дают встречных судов координаты – передадим на них больного, и все дело. Дуба-то он не врежет?

– Черт его знает, – сказал штатный капитан. Ему хотелось зайти в Берген. Это было спокойнее, нежели отправлять больного на вельботе, – еще какая погода будет там, где встретим мы идущее на Мурманск судно. Вокруг-то уже готова была закипеть штормом осенняя Атлантика.

– Прикажите медикам клизму собрать. И вашего доктора, и с траулеров, – приказал наставник.

На морском языке «клизма» обозначает консилиум.

Экзамен был мною сдан.

Через восемнадцать часов Москва навела нас на большой морозильный траулер, возвращавшийся от Ньюфаундленда на Мурманск. Мы легли в дрейф и стали готовиться к переправе больного на БМРТ. Я ничего не знал о припадочном. Только то, что он фельдшер, но пошел в море утилизатором – на самую тяжелую, вонючую и грязную работу, – чтобы заработать денег. Очень ему, очевидно, нужно было их заработать.

Утилизатор – человек, который работает в цехе кормовой муки. Муку мелют машины из рыбьих отбросов и той рыбы, которую технология траулера не позволяет обрабатывать на борту. Утилизатор разравнивает горячую муку по трюму катком. В любую погоду, при любой качке. Он зарабатывает на всем готовом до 450 рублей, это капитанский заработок.

Когда надеваешь спасательный жилет, делается стыдно и неудобно. Как будто идешь в кальсонах по улицам. Не в нашем стиле – страховаться от маловероятной опасности. Но старинный морской устав – все обязаны перед посадкой в шлюпку надеть жилеты. И это правильный устав. Но хоть бы тогда жилеты у нас были не такие уродливые, мешающие каждому движению, тяжелые и жесткие.

И вот мы нацепили жилеты и собрались у вельбота, который уже покачивался на таях вровень со шлюпочной палубой. И старпом сунул мне за пазуху еще тяжеленную ракетницу. И тут я окончательно стал похож на беременного бегемота в своем оранжевом жилете.

Конечно, мотор вельбота был прогрет, опробован и готов к действию. Конечно, бдительные глаза капитана-наставника и моего тезки следили за каждым нашим движением. И матросы уже шагнули через черную бездну между бортом теплохода и хлипким бортом вельбота. А мы – среднее начальство – ждали больного на палубе и курили.

И делать больше было нечего, хотелось, чтобы больной появился скорее, чтобы скорее освободиться от всего этого. Как-то все грустнее и грустнее становилось на душе. Чужая беда заползала к нам в душу. Не очень-то веселая ждала нашего больного судьба. Теперь уж моря ему не видать как своих ушей.

Был поздний вечер. Океан храпел и посапывал.

Больной все не шел. Выяснилось, что он, оправившись и отоспавшись после припадка, смотрел кино «Солдат Иван Бровкин». Он не знал, что его решено отправить обратно, медики не сказали ему об этом заранее, не хотели слышать его просьб и приставаний. Он тихо-мирно сидел в кино, а его вдруг вызвали, приказали собрать чемодан, объяснили, что его ждет встречное судно, и вельбот уже приспущен, и чтобы он не рассусоливал. Больной сперва возмущился, потом заплакал, потом стал собирать шмутки – куда ему было деваться?

Через полчаса он показался – с чемоданом, с кожаной сумкой через плечо – здоровый на вид молодой грузин. Несколько рыбаков сопровождали утилизатора. И доктор. И женщина – наш пассажирский помощник.

– Лишние отойдите. Здесь не цирк, – сказал капитан, мой тезка. И это прозвучало жестко, хотя было правильно.

Рыбаки, провожавшие товарища, оттеснились. И он остался один в центре освещенного люстрой пространства. И отчужденность, замкнутость в своем горе была в нем. Никто ему не мог помочь. Ему не повезло. И нам было стыдно за то, что мы ничем не можем ему помочь. Но при этом он раздражал нас – и своей долгой задержкой, и своим здоровым видом.

– Давай чемодан, – сказал старпом.

– Сам, – сказал больной и ступил к бездне между бортами судна и вельбота.

Тут боцман взял его вместе с чемоданом и сумкой и перекинул в вельбот. Наш боцман, как я уже говорил, был очень большой и сильный человек.

Мы прыгнули тоже.

– Майна помалу! – скомандовал капитан.

И мы поехали вниз, вдоль борта, мимо иллюминаторов, и ржавых потеков, и рядов заклепок, и сварочных швов. Как на лифте. Потом вельбот глухо хлюпнул днищем о волну, первый раз рванулся, качнулся, короче говоря, проснулся после долго сна в привычных и уютных объятиях шлюпбалок.

Мотор загрохотал, мы выложили тали и рванулись в океан.

Очень красив был наш теплоход со стороны, залитый огнями. И слышалась музыка из кают первого класса. А длинная зыбь покорно ложилась под днище вельбота, мотор работал устойчиво. И мы знали, что скоро неприятное закончится, мы вернемся и выпьем пива, его оставалось еще бутылок десять.

Чужое судно приближалось к нам. Теперь мы смотрели только на него. И вечное любопытство моряков к другому судну пробуждалось в нас. И люди на чужом судне испытывали такое же любопытство к нам и к больному, которого мы везли. Вдоль борта и в иллюминаторах торчали головы.

Чужое судно возвращалось с долгого промысла. Его борта были обмяты от швартовок в океане к плавбазам и темны от ржавчины. И вообще оно было мрачным и темным после нашего теплохода, после множества палубных огней.

Штормтрап висел неудачно – возле шпигата, из которого хлестала грязная вода. Всегда почему-то рыбаки вывешивают штормтрап возле самых шпигатов.

Мы подвалили к трапу и приняли порцию вонючей воды в вельбот. Это спутало нам карты.

Мы раньше договорились, что пускать припадочного больного, да еще находящегося в состоянии обиды и раздражения, по штормтрапу без страховочного конца опасно. И что мы выполним все требования техники безопасности на судах советского морского флота, то есть

привяжем его бросательным концом вместе с чемоданом, а потом уже выпустим с вельбота. Но эпилептик с ходу прыгнул на штормтрап и полез на восьмиметровую высоту. Да еще эта проклятая сумка болталась у него через плечо. И тут мы поторопились отойти, чтобы если он шлепнется вниз, то в воду, а не нам на головы и не на жесткие борта вельбота.

Больной добрался нормально. Мы видели, как чужие руки протянулись к нему через фальшборт и приняли его на свои заботы. Но что-то уже нарушилось в ритме всей операции. И океан, и море терпеть не могут, когда все идет строго по плану. Они обожают неожиданности.

Короче говоря, мотор заглох.

Тут не было ничего особенного, потому что моторы спасательных вельботов для того и существуют, чтобы отлично заводиться, пока вельбот лежит в объятиях шлюпбалок, и обязательно глохнуть, когда вельбот просыпается на волне.

Боцман отпихнул моториста и сам крутил заводную ручку. Моторист говорил, что раньше предупреждал о неполадках в охлаждении. Старпом кричал боцману, чтобы тот не так старался: «Мотор с фундамента оторвешь!»

А тем временем вельбот несло под корму нашего теплохода. Нет моряка, который на океанской зыби хочет посмотреть с вельбота на корму своего судна в непосредственной от нее близости, то есть попасть «под подзор».

Старпом приказал разбирать весла. Но весла, как это и положено, были туго укутаны шерстами от уключин. Пока весла освобождали, прошло минуты три.

– Пронесет или не пронесет? – задумчиво спрашивал у небес старпом.

Наконец весла разобрали – оказались исправными только четыре. Очень мало для тяжелого спасательного вельбота. Боцман-дракон прыгнул на банку и сел загребным. На первом же гребке он поднатужился и поломал уключину у самого корня.

С грехом пополам мы добрались под тали. И это приключение выбило из нас воспоминания о больном. А когда Борис Константинович сделал вид, что ничего не заметил, то настроение окончательно вошло в норму. Все-таки наставник был настоящий моряк: он знал, что такое мотор на спасательном вельботе и как надо принимать экзамен по Уставу.

О чем думается в спокойные предутренние вахты

Кто над морем не философствовал?

В. Маяковский

Мы ослеплены заманчивым зрелищем подводных сокровищ, но главное богатство океана – не материальные ресурсы, а вдохновение и радость, которые можно черпать из него бесконечно.

Капитан Кусто

Как и все охотники, рыбаки – хочешь не хочешь – убийцы. И это накладывает на них неуловимый отпечаток. И мне хочется послать рыбам сигнал: «Берегитесь, хек и палтус!» Но это невозможно сделать.

И потом, мне нравятся ребята, которые уходят на четыре месяца в океан, чтобы ловить и убивать рыб.

Я знаю их капитанов – большинство седеет к тридцати годам от перенапряжения. Не они виноваты в том, что банку Джорджес уже дограбливают. Что берут из моря плохую рыбу – серебристого хека, а ценные породы – зубатку и палтуса – швыряют в машину и делают из нее кормовую муку, ту самую, от которой куриные яйца иногда пахнут рыбой. Все это не их вина, они – винтики в той машине, которая разоряет океан. И черта с два докопаешься до того, кто обманывает рыб, природу и, в конце концов, самого себя. Особенно противно думать об аппаратуре, которая посылает в воду рыбы сигналы, и рыбы доверчиво бегут в сети, потому что акустическая машинка рассказывает на их языке о хорошем корме и тихой погоде. Черт знает, но есть здесь подлость, унижающая человечество.

Правда, промысловики всегда поступали так. Они, например, ловили маленького моржонка и били его палками по носу. Моржонка орал. И тогда взрослые моржи бежали на зов детеныша под дубины и ружья охотников.

Моржи, как и все порядочные твари, любят своих детенышей больше самих себя. Промысловики об этом знали.

Сами животные – и рыбы в их числе – тоже бывают хороши. Есть такая глубоководная рыба-удильщик, у которой в пасти горит огонек, фонарик. Удильщик лежит на дне, открыв пасть, и ждет, когда любопытная рыбешка приплывет на огонек. Тогда он пасть закрывает.

Но, если вдуматься, нет на свете никого беззащитнее рыб.

Я где-то читал, что, по старинному норвежскому поверью, сардины умирают даже от одного человеческого взгляда.

И если у рыб есть души, то это они соединяются в легкие, мерцающие облачка над морем, когда сотни траулеров набрасываются на косяк и миллионы рыб умирают в сетях, как умирали – беззвучно и покорно – первые христиане на арене Колизея.

Я помню из прочитанной в детстве книжки «Камо грядеши?», что символом ранних христиан была рыба. Ее силуэт чертит на песке Лигия.

Правда, рыбам – миногам – бросали на съедение этих древних христиан, если не было львов. И рыбы исправно съедали христиан. А христиане, если почитать Евангелие, закусывали рыбами: «И взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу».

Все корабли плавают в густом и жирном супе, ибо только в Атлантическом океане имеется органического вещества в двадцать раз больше мирового урожая пшеницы за год.

Нынче я принадлежу к тем, кого рыбы должны бояться. Я вожу рыбаков из Мурманска к берегам Северной Америки.

В тот вечер перед сном я долго читал воспоминания Чуковского о Блоке, любил их обоих, завидовал тем писателям, которые попали в «Чукоккалу», и почему-то вспоминал девочку – свою детскую любовь. Стихи Блока входили в меня и жили во мне:

«Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою... И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели... И только высоко, у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок – о том, что никто не придет назад».

А за окном каюты на ботдеке повизгивали уборщицы и проводницы, милоясь с рыбаками, нашими пассажирами. Распяленная ветром занавеска трепетала над окном, как рыбий хвост. Свободные от вахт командиры били «козла» в кают-компани, радисты играли в «шиш-беш».

Под нами, на глубине четырех километров, в безнадежной и торжественной тишине проплывали горы и ущелья, холмы и равнины дна Атлантического океана. Тайны чужой планеты роились под нами в крошечном мраке.

«Приснись мне та, которую я любил, приснись веселая березовая роща или старый Павловский парк, безмятежные пруды и чугунные мостики со львами. И пускай я навсегда забуду о несчастной девушке в красном пальто из поезда Воркута – Москва».

Так книжно я думал, прочитав воспоминания Чуковского о Блоке. В море часто думаешь книжно, если специально не следишь за собой.

А нужно ли следить за собой и бояться книжных мыслей?

Приснились плечи обпиленных перед весной молодых лип в глубоком колодце двора. И броуновское движение снежинок, завихренных сквозняком среди доходных домов Петроградской стороны в Ленинграде.

В три сорок пять меня поднял матрос. Я помылся, причем вода в кране взрывалась и фыркала – насос работал дурно; потом пожевал заплесневелый лимон, сунул в рот первую сигарету и отправился принимать вахту.

Я шел длинным коридором. Впереди мерцало зеркало, и я видел себя – далекого и незнакомого человека. Стены коридора в зеркале изламывались от качки. Незнакомый карикатурный человек цеплялся за поручни и дверные ручки.

Тишина ночного судна звенела в углах и закоулках. Бессмысленно горели в безлюдье плафоны. Была середина ночи – самый сон.

В штурманской рубке на подставке меня ожидал графин с приторно сладким какао и кусок хлеба с сарделькой, а дверь из рубки на мостик была закрыта, чтобы свет не мешал вахтенным пялить глаза в ночную тьму. Близко вздыхал и ворочался океан, гудели репиторы компаса, безмолвно тянулись цифры на счетчике лага, маленькими скачками бежала секундная стрелка часов.

До вахты оставалось время, и я поколдовал над картой, прикидывая, когда мы подойдем к Английскому каналу. На юг от нас – в Хихоне, Бильбао, Сан-Себастьяне, в разных Байоне, Педерналессе, Сантанье – спали испанцы со своими испанками. На востоке – в Бордо, Ла-Рошели, Рошфоре и Нанте – спали французенки со своими французами. Прямо по курсу спали англичане.

А мне пришла пора четыре часа плыть в океане чужого сна. Мои сны теперь были уже наяву.

Зашел радист, без слов сунул радиogramму навигационных предупреждений, длинную, на двух страницах. Радистов бесила необходимость принимать «Навип» – навигационные предупреждения – для всех морей и океанов. Если ты плывешь в Бискайском заливе, неважно, что происходит у берегов Японии. И если в Токийской бухте погас маяк, то и черт с ним, – так считали радисты.

Сэр Фрэнсис Чичестер обогнул мыс Горн.

Дай тебе Господь удачи, старик!..

У западного побережья Португалии проводятся артиллерийские стрельбы. На подходах к Бостону дрейфуют бочки с сильно взрывчатым веществом. Севернее Багамских островов дрейфует перевернутый оранжевый буй. К востоку от Шетландских островов обнаружен неизвестный предмет размером до десяти метров, представляющий опасность для мореплавателей. У западного берега Индии проводятся учения боевых кораблей. Артиллерийские и ракетные залпы гремят по всей планете – в Саргассовом море, у Кубы, южнее Тайваня...

Когда учатся стрелять на земле, это делается без огласки. О стрельбе в открытом море приходится оповещать...

Либерийский танкер, вспоровший себе брюхо о скалы возле берегов южной Англии, выпускал из кишок сырую нефть. Суспензию нефти и соленой пены ветер гнал к берегам Франции. Владельцы устричных отмелей метались вокруг телефонов, не зная, чем и как уничтожается нефтяная суспензия. Работяги грузили устриц на автомашины и везли в далекие края, чтобы спасти. В Лондоне, в типографии «Морнинг стар», рисовали клише: боевой корабль с надписью «Английский флот». Два офицера на палубе: «Кажется, мы впервые столкнулись с нефтяной проблемой у себя дома, а не к востоку от Суэца...»

Либерийский танкер вез американскую нефть. Было на чем заварить очередную политическую заваруху. Суспензия дрейфовала и к английским берегам. Под угрозой приморские курорты. Кто из туристов ползет в морские волны, украшенные радугой нефти? Танкер бомбят, суспензию пытаются жечь напалмом. Оказывается, на воде напалм быстро теряет температуру, градусов не хватает для того, чтоб поджечь сырую нефть. Выясняется, что сырые люди от напалма сгорают более послушно. А древний сок древней жизни планеты – нефть – от напалма не загорается...

Бедный капитан танкера. Не хотел бы я быть в его шкуре. При спасательных работах погиб матрос. Сколько впереди допросов, объяснительных записок...

Второй штурман Глеб появился в рубке, жмурясь на свет настольной лампы.

– Приветствую вас, сэр! – сказал он. – Слушайте, чертовщина была. Часов около двух. Тьма кромешная, и вдруг – зеленая ракета, низко над морем, параллельно воде и поперек нашего курса. А радар – ничего! Пустое море вокруг. Я растерялся и даже мастеру звякнул.

– А он чего?

– "Продолжайте следовать прежним курсом и скоростью".

Вероятно, это была подводная лодка, которая хотела обратить на себя внимание. Быть может, она выпустила ракету из-под воды, предупреждая о вспышке.

– Спокойной ночи, Глеб.

– Спокойной вахты, Викторыч.

«...И всем казалось, что радость будет... Что в тихой заводи все корабли...»

Луна крутилась над океаном среди туч справа по борту.

Ночные тучи хотели Луну съесть. Они вечно на нее охотятся, крадутся за ней, хитрые и тихие, как шахматы. Их силуэты, чем ближе к Луне, делаются все более хищными, превращаются то в акулу, то в дракона, то в пасть тигра. Наконец выдержка изменяет тучам, узкая длинная стрела вырывается из них, впивается в Луну. Но иногда они подбираются тихой-тихой сапой, превращаются в стадо добреньких барашков. И бредут по небесам вроде бы без цели. А потом набрасываются на Луну и проглатывают ее. В желудке туч Луна бледнеет, тончает, нервничает. И мне бывает ее жалко.

Луна может одарить удивительными впечатлениями, если взять бинокль и уставиться на нее. Незаметно исчезнет вибрация от машин, пропадут все звуки. Странное дымящееся тело крутится в небе. И вдруг вечное дыхание космоса коснется души. И подумаешь, что космонавты должны быть ребятами с крепкими нервами. Правда, человечество уже не раз доказывало, что ребята с крепкими нервами оказываются в наличии, когда наступает для них время и дело.

«Как идти, не зная куда; как терять, не видя приобретений! – писал Герцен. – Если в Колумб так рассуждал, он никогда не снял бы якоря. Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги, – по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой – вопрос. Этим сумасшествием Колумб открыл новый мир».

Герцен много раз говорит, что сумасшедшие первыми дерзают вступать в неизведанное.

Непреодолимо трудно понять психическое состояние человека, открывшего нечто противоположное привычному человеческому опыту. Какая болезненная сила фантазии была у человека, впервые понявшего, что Земля – круглая. Как замер он, пораженный смелостью и могуществом своего мозга и души. Как вздрогнул от кошунственности представления, пытался гнать его, гнать наваждение. Но восторг истины, восторг познания все ширился в его душе, как будто все музыканты мира играли в честь его торжественную музыку. И он бродил ночи напролет, оглушенный, и все смотрел на небеса; новые и новые доказательства истинности догадки роились в нем. И сумасшедшей силой его мысли, фантазии Земля из плоской превратилась в круглую.

А тот, кто первый понял, что Земля – не центр мира, а всего-навсего жалкая планетка? В каком гнетущем одиночестве оказывается человеческий мозг, опередивший человечество. Он оказывается в космическом одиночестве. Его может поддержать только могучий дух. Великая мысль может родиться только у того, кто имеет могучую душу.

Мне нравится, как ученые разных хитрых наук пытаются воздействовать на тупые мозги обывателей. Например, если ученый изучает льды, то на первой странице своей научно-популярной книги сообщит, что если растащить весь лед Антарктиды и других ледников по планете, то лед покроет ее слоем в сто двадцать метров. А тот, кто изучает воду, на первой странице сообщит о том, что соль морей, будучи вытоплена, покроет земной шар слоем в девяносто метров. Тот, кто занимается сложнейшими вопросами физики Солнца, не сможет удержаться от того, чтобы не сообщить, сколько раз Земля уложится внутри светила; и т.д., и т.п. Каждый ученый с наивностью ребенка хочет пробить застойные мозги читателя при помощи поразительных цифр и тем привлечь его внимание именно к своей науке. Я говорю о милой наивности. Самые глубокие, самые серьезные ученые – самые дети, потому что любят облака, инфузорий, лягушек, солнце, море, снежинки. Без любви к инфузориям долбить гранит наук не хватит воли и сил.

Любовь к морю тоже детское чувство. Она не мешает ненавидеть купанье. И в этом большой смысл. Нас тянет в огромные пространства вод не потому, что мы водолюбивые существа. Мы можем утонуть даже в бочке дождевой воды. Мы любим не воду, а ощущение свободы, которое дарят моря. Наш плененный дух всегда мечтает о свободе, хотя мы редко даем себе в этом отчет.

Мало кто задумывался и над тем, что море, вода подарили людям понятие волны. Волна, накатывающаяся век за веком на берега, колеблющая корабли, натолкнула на одну из основных идей сегодняшней физики – о волновой теории света, волновой сущности вещества.

Волна подарила и ритм. В основе музыки лежит ритм волн и ритм движения светил по небесам. Потому музыка и проникает в глубины мировой гармонии дальше других искусств. Сам звук тоже имеет волновую природу. Медленный накат волны на отмель, вальс и ритм биения человеческого сердца чрезвычайно близки. Потому вальс невредимым пройдет сквозь джазы.

Конечно, тому, кто страдает морской болезнью, лучше не читать этот гимн волнам.

Древние персидские владыки наказывали прибой, разрушавший берега их владений. Они секли море цепями.

Когда плавание затягивается и я уже устаю от безбрежности океана и уже мечтаю о возвращении, то иногда во сне начинает мерещиться шум берегового прибоя. Как будто я живу в

домике среди дюн. И в окна доносится длинный и мерный гул наката, смешанный с шорохом сосен и песчинок на склонах дюн.

Иногда очень хочется услышать в море береговой прибой. Когда волны сутки за сутками разбиваются за бортом, за иллюминатором каюты – это другое. И грохот шторма в открытом океане – другое. Ничто не может заменить шум берегового наката. Там, где море встречается с землей, – все особенно. И люди, живущие на берегах, – особенные люди. Они первыми увидели, как из пены морской волны, вкатившейся на гальку, из смеси утреннего воздуха и влаги родилась самая красивая, нежная, женственная женщина, самый пленительный образ человеческой мечты – Афродита.

И самую красивую планету назвали ее именем. Богиня любви и красоты, покровительница брака, она вышла к нам из пены безмятежно нагая, и капли морской воды блистали на ее коже. И так же искрится, блистает по утрам и вечерам Венера. Древние греки называли ее еще Успокаивающая море. Потому что древние греки верили: красота смиряет разгул стихий.

Как обеднело бы человечество без легенды об Афродите. Лучшие художники ваяли и писали Афродиту, она дарила им самое таинственное на свете – вдохновение. Волны бегут через океаны посланцами материков. Волны, поднятые штормом у мыса Горн, за десять суток достигают берегов Англии и улавливаются сейсмической станцией Лондона. Почва Европы ощущает порывы штормового ветра другой стороны планеты. Как тут не подумать о связи всего на свете.

Никто еще не подсчитал энергию, которую тратит ветер, чтобы создавать волны в океанах и морях. Какая часть его мощности исчезает в колебаниях частиц воды на огромных пространствах между материками? Что стало бы с нами, если бы океаны не укрощали ветер? Быть может, сплошной ураган несся бы над планетой. Ни деревья, ни травинки... Будьте благословенны, волны!

Древние арабы считали, что прилив возникает тогда, когда ангел, которому поручено заведование морем, опускает где-то за Китаем в воду пятку. И волна от пятки бежит по свету. Некоторые считали, что ангелу достаточно опустить в море один палец правой ноги. Древние арабы были близки к истине.

Демосфен говорил речи на пустынном берегу моря. Вид ветреного моря напоминал ему толпу, которую следовало убедить и победить речью. Это не всегда получалось. И говорят, Демосфен здорово злился. Ну, о том, что морская галька поставила Демосфену язык на место, знают все.

На Вселенском соборе папа Павел VI попытался определить основное стремление сегодняшнего человека. Он думает, что сегодняшний человек хочет выявления своей неповторимости. Самым типичным признаком времени папа считает желание человека быть личностью.

Многие считают главным знаменем времени осознание человечеством своего малознания. Каждое новое фундаментальное научное открытие лишь яснее показывает, что человек еще ничтожно мало знает о себе и природе вокруг.

Может быть, эти точки зрения несовместимы, но мне лично они нравятся обе.

Я долго не мог понять, почему не сбываются морские приметы, добрые, старые морские приметы, знакомые еще с детства. Например: «Солнце село в тучу – жди, моряк, бучу!»

Недавно понял. Уже за несколько часов современное судно уходит из того района моря, где примета, быть может, и окажется справедливой. Скорость убила древнюю мудрость, она остается далеко за кормой.

Точнее всего можно угадать погоду по облакам. Если облака напоминают зубцы старинных башен и соединены общим основанием, они предвещают грозу. Такие облака относятся к альтокумулясам. Облака, образующие густой серый покров, через который просвечивают солнце и луна, обычно предсказывают резкое ухудшение погоды. Они называются альтостратусы.

Мне нравятся латинские названия облаков, хотя на экзамене по метеорологии их обязательно перепутаешь. Латинские слова тяжелы и могучи. Они звенят доспехами римских легионеров. И потому совершенно не подходят для названий облаков.

Перисто-слоистые облачка, в том числе молочная бледная вуаль, называются цирростратусы. Звенят доспехами римских легионеров и пахнут ночной аптекой. Это оскорбительно для облаков.

Смотрите, какие ласковые и чистые слова нашли для них в северных губерниях России.

В Архангельской облака называются «небесья». Темная синева на горизонте перед восходом или заходом солнца – «бусова». Темь от нависших туч – «бухмарь». Когда небо завлакивается облаками, оно «бухмарится». Передовые серебристые и округлые тучки перед грозой зовутся «быками». А есть и «ветряная свинка» – темненькое, как бы в клочки разорванное облачко. Если солнце начинает скрываться за чистыми, белыми облаками, то говорят, что солнце «ушло в замолодь».

И есть еще одно чудесное слово – «лють» – это блеска, искра инея, летающая в воздухе в сильный мороз в солнечный день...

Вот какие мысли приходят в ночную, спокойную вахту.

Один раз в час запишешь в черновик журнала отчет лага и сличишь компасы. Когда луна скроется в тучах, включишь на прогрев локатор. Если позволяет расстояние до берегов, возьмешь пеленга радиомаяков. Вот и все дела. Остальное время меришь шагами рубку и смолишь сигареты.

Пожалуй, на вахте второго штурмана зеленую ракету выпустила английская подлодка, потому что на рассвете прилетел военный британский самолет и четыре раза низко прошел над нами, рассматривая нарушителя спокойствия и фотографируя. Самолет разнообразил вахту.

Я смотрел на самолет, думал, как пилоты через считанные минуты уже вернутся на землю. И думал о ночной подводной лодке. Соотечественник пилотов и подводников, океанограф Джордж Эдвард Рейвен Дикон часто жалуется на косность общественного сознания, на скардность в затратах на изучение Океана. Дикон даже решил, что «нужна катастрофа, поражающая воображение, чтобы показать нам, насколько мы к ней не подготовлены». Он грозит человечеству новым всемирным потопом. Он требует, чтобы люди к потопу готовились, чтобы они повернулись лицом к Океану. И люди, общество, уже начали этот поворот. Но судорожное наращивание темпов исследований Океана, которое захватило многие страны, рождено не угрозой всемирного потопа, а традиционной угрозой новой войны.

И вот сотни океанографических судов бороздят океанские просторы. А еще несколько лет назад государства с крайней неохотой тратились на исследования морей.

Опять война подталкивает вперед науку. От всего на свете – от атома до космоса, от облаков до морских глубин – несет войной. Я люблю и уважаю капитана Кусто, но не следует забывать, что и он в прошлом – офицер военного флота.

Британский самолет в четвертый раз прошел над нами.

– Джон, брось жвачку! – крикнул ему вслед рулевой матрос. Под «жвачкой» матрос подразумевал жевательную резинку.

Всходило солнце.

Настоящий акушер волнуется при каждом родах.

Так и моряки волнуются, когда из пустыни рождается Солнце. Конечно, это не то волнение, когда заламывают руки или бухаются на колени. Восход при мягкой погоде вызывает желание молиться на красоту мира про себя, тихо.

Солнце задолго предупреждает о приходе. Облака трубят алые и розовые сигналы. Тучи подбирают полы грязных халатов и бегут из палаты роженицы, как обыкновенные уборщицы. Ветерок причесывает волны, выравнивает гребешки по ранжиру. А штурманы на всех судах мира – если это порядочные штурманы – суют в карман секундомер, открывают дверь рубки,

поеживаясь от утреннего холода, выходят на крыло мостика, стирают росу со стекла репитора компаса и наводят пеленгатор на то место, где вот-вот пробрезжит первый луч. И ждут.

Конечно, вылезешь на крыло раньше времени. И рассветный ветер просквозит насквозь – лень надевать теплое. Но какая чистота вокруг! И как чисто твое судно, промытое волнами, дождями, снегами. Ржавчина не идет в счет. В такие утренние минуты она чиста, как дыхание здорового ребенка.

И вот стоишь, щелкаешь от нечего делать секундомером, глядишь, не испортился ли он. Стрелка бежит ровно и безмятежно, отсчитывая секунды твоей жизни. Но мысли о быстротекущем времени не тревожат. Наоборот, секундомер сейчас слуга и раб. Он послушно поможет узнать, правильно ли работает компас. Солнце и Время выводят моряков к правильному направлению, к истинному курсу.

– Ну, давай, давай, дорогое! – говоришь Солнцу. – Пора. Я замерз уже!

И оно наконец выныривает из-за круглого бока планеты. И ты ловишь его в окуляр пеленгатора. Иногда оно пепельное, иногда оранжевое, иногда режет глаза пульсирующей кровью – это зависит еще от светофильтра.

Когда следишь за светилом в момент восхода – от первого луча, только тогда понимаешь, с какой скоростью вертится в пространстве Земля. Солнце вытекает из окуляра слева направо, и ты ведешь за ним пеленгатор, как зенитчики ведут орудие за низко летящим самолетом.

Потом, бормоча про себя отсчеты пеленгов и держа в руках воробья-секундомер, вернешься в ходовую рубку, прикажешь выключать навигационные огни и: «Смотреть тут без меня в оба!» А сам уйдешь в штурманскую, чтобы рассчитать поправку компаса. Ты считаешь ее быстро, но, когда вернешься и глянешь на солнце, оно будет уже много выше горизонта. Оно уже побледнеет, повзрослеет, и почетные сигналы облаков стихнут.

Таинство восхода закончилось. Начался день.

Солнце – доброе, Океан – мудр, но они дикие существа и безмятежно принимают любые жертвы. И сейчас истерически взвизгивает морзянка знаменитый SOS, и исчезают в зыбях корабли. Но другие продолжают плыть дальше, быстро забывая неудачников. Так быстро забывает женщина о тяготах родов, чтобы не бояться рожать еще и еще.

Иногда только постучит в рубку озябший рыбак-пассажир, бессонный палубный бродяга, скажет:

– Прошу разрешения... Извините... Не спится третью ночь... Можно побыть здесь?

– Давай постой, – ответишь снисходительно, ощущая почему-то превосходство над пассажиром, хотя он скорее всего плавал больше тебя.

И вот он конфузливо станет в уголке, упрется лбом в стекло окна и думает думы, глядя на брызги от форштевня. И о чем они, рыбацкие думы?.. Потом очнется, спросит обычное:

– По сколько идем?.. Встречных не было?

А ты спросишь:

– Ну как, план выполнили?

– Выполнили...

Ветерок раздавливает на стеклах брызги, и они превращаются в серебристых пауков. Но море спокойно, нежная фиолетовость сквозит меж облаков. И кажется, что плывешь внутри огромной перламутровой раковины.

– Вот, понимаешь, уходил на промысел старпомом, а возвращаюсь вторым помощником, – скажет рыбак, вздохнет и выругается, прикрывая руганью тоску.

– За что?

И он расскажет, что утопил моряка, – смыло матроса, а была ночь и туман, и ни хрена не видно, и мороз. Блоки шлюпочных талей прихватило льдом, вельбот завис. А время шло, паренек в зыбях слабел, и когда кинули ему конец и подтянули уже к борту, то паренек вдруг махнул рукой, отпустил конец и исчез. А отвечать, ясное дело, ему – старпому...

И как будто заглянет в рубку, в ходовое окно тот неудачливый паренек, оставшийся среди айсбергов у скал Ньюфаундленда, мелькнут его выпученные глаза и безнадежно отмахивающаяся рука...

Однако рулевому матросу ничего такого не мерещится. И когда разжалованный рыбак уйдет, матрос дернет плечом и сострит:

– Шатаются здесь такие, а потом галоши пропадают...

И ты улыбнешься, потому что, ясное дело, плакать в такой ситуации еще глупее. Тем более галош у нас нет, и пропадать они, естественно, не могут. Наши пассажиры воруют на сувениры только плафончики от коечных лампочек в каютах первого класса...

Семь часов ноль-ноль минут.

Радиотехник включил трансляцию. Чтобы рыбакам было веселее просыпаться, по всем палубам гремит песня:

У рыбака – своя звезда!

Кто с детства с морем обручен...

Мы третий раз подряд делаем рейс Мурманск – район острова Нантакет, Джорджес-банка, Сент-Джонс и обратно в Мурманск. И каждый день начинается с этой песни. Мы устали от нее. По-моему, рыбакам она тоже поперек глотки, но никто не жалуется.

До сдачи вахты остается час.

Сквозь щели в густеющих облаках впереди по курсу пробиваются отдельные косые солнечные лучи, и там, где они упираются в море, гребешки волн снежно взблескивают. А вблизи судна волны уже ровно серы. Далекое, просвеченное солнцем гребешки кажутся дружными стадами дельфинов или косаток.

Прибегите к нам на минутку, дельфины! Так хочется, чтобы рассказы о вашем уме и человечности оправдались.

Редкий моряк раньше вылез бы на палубу под дождь, ветер, снег, если бы увидел стадо дельфинов. Нынче выскакивают многие, свешивают головы за борт.

Веселые, живые торпеды несут в себе жизнерадостность, спортивное настроение, лукавое любопытство и необъяснимую скорость движений.

Вот мне в детстве казалось, что если, отходя от зеркала, быстро оглянуться, то увидишь в зеркале свой затылок. Дельфинам такое удалось бы запросто. Легкость их скорости заколдовывает, как музыка. Они взлетают над волной, скашивают на тебя хитрый и веселый глаз. Крутой изгиб изящного тела, неподвижные, как крылья чайки, плавники. Без всплеска уходят в воду, несутся в ней, видишь их отлично с высоты мостика. И возникает какое-то восторженное чувство и радость. Как на мировом чемпионате по гимнастике. А они затевают опасную игру – режут нос судну или несутся прямо в борт. Как мальчишки, которые перебегают зад-вперед перед паровозом. И в последнюю секунду, тем движением, которым пловцы переворачиваются у стенки бассейна, они отшатываются от борта. И боязно, что они не рассчитают, ударятся в сталь, сорвутся под винт, – как страшно за сорванцов, перебегающих рельсы под фарами паровоза.

Дай Бог, чтобы мы когда-нибудь нашли общий язык с этими существами. Они знают секрет, как жить весело и дружно. И они поделятся с нами этим секретом, обязательно поделятся.

Прибегите к нам на минутку, дельфины! Порезвитесь у борта, покажите над серыми волнами веселые и лукавые, улыбающиеся рожи; украсьте стремительным движением последние минуты нашей спокойной вахты...

Дельфинов нет, над морем распяты чайки.

Слова, написанные полвека назад, тихо живут:

...И только высоко, у царских врат,

Причастный тайнам, плакал ребенок -

О том, что никто не придет назад.

Мы придем еще много раз. Но причастный тайнам ребенок оплакивает наш последний. Он плачет красиво, значит, он прав.

Однако не будем забывать о мгновениях счастья. Они еще встретятся на пути.

В наш век все люди стали путешественниками, все куда-то летят, плывут, едут, все волей-неволей стали туристами и забыли, в чем польза географии.

В Риме, в конце царствования Тиберия, помер древний грек Страбон. Он написал семнадцать томов «Географии». Он сказал: «Польза географии в том, что она предполагает философский ум у того, кто изучает искусство жизни, то есть счастье».

Странные капитаны

Капитан – это голова корабля, парохода или теплохода. Таким образом, у капитана два туловища – одно его собственное, а второе – это корабль, пароход или теплоход. Каждому понятно, что такое положение с годами вызывает в психике капитанов некоторые сдвиги и странности. На морском языке такие сдвиги и странности определяются словом «бзик». Ни у Даля, ни у Ожегова такого слова нет.

Раньше бзики капитанов были величественными и на многие годы сохраняли имена капитанов в памяти потомков.

Например, капитан брига «Баути» Блай плывал в южных морях 179 лет тому назад. Блай имел бзик, заключающийся в непомерно почтительном отношении ко Времени. Время, конечно, важная вещь. Особенно в море. Чтобы определить долготу судна с точностью до одной мили, надо знать время с точностью до одной секунды. Но капитан Блай хотел превратить своих матросов в живые, бегающие по вантам секундомеры. А когда помощник капитана не сдул пыль с крышки хронометра, то Блай так вздул помощника, что возмутился весь экипаж. Капитана высадили на шлюпке в открытом море. Так, на шлюпке, он и въехал в бессмертие.

Нынче бзики измельчали.

На Дальнем Востоке я знал капитана рыболовного траулера, который в свободное от судовых занятий время шил тапочки для покойников. Он уверял, что такое хобби успокаивает нервы. Он отдавал готовые тапочки в соответствующее заведение бесплатно. Но вы бы видели, как ему не хотелось с ними расставаться! Он даже украшал их чукотским орнаментом.

Заготовки для тапочек лежали у него по всей каюте. Он один снабжал всех покойников Камчатки.

Его любимой фразой-присказкой была такая: «А вы знаете, что Пугачева четвертовали в возрасте всего-навсего тридцати двух лет?» Ему нравилось, что Пугачев потрясал Российским государством в нестаром еще возрасте.

Мой первый голова корабля, капитан третьего ранга Гашев, Зосима Петрович, органически не мог видеть в руках у подчиненных постороннюю книгу.

Гашев невзлюбил меня с первой встречи. Виноваты оказались: байковые теплые кальсоны, выданные мне после окончания училища бесплатно, собственный мой подстаканник, на ручке которого изображен был малаец, но больше всего – книги.

Я был назначен командиром боевой части «один» и «четыре» на аварийно-спасательное судно Северного флота.

Семь лет меня учили воевать, то есть ставить мины, стрелять торпедами, швырять глубинные бомбы, управлять артиллерийским огнем. И естественно, я знать не знал, как надо спасать. В эту нехорошую ситуацию меня, как водится, завел длинный язык.

Был одна тысяча девятьсот пятьдесят второй год.

Когда я нашел свой корабль, командира на борту не оказалось, и представиться ему я не смог. Вахтенный офицер показал мою каюту. Бортовая стенка каюты заросла инеем. Судно строили в Америке, и оно не было приспособлено для работы в высоких широтах. Горячий воздух поступал в каюту из раструба отопления в подволоке. Известно, что горячий воздух легче холодного, поэтому он вниз не опускался. Если ты стоял, то дышать было нечем. Если садился, вокруг блистал иней.

Я распаковал чемодан, вытащил казенные кальсоны, вдел одну штанину в другую, пояс кальсон обвязал вокруг раструба отопления, а к нижним тесемкам привязал тяжелую настольную лампу.

Теперь теплomu воздуху некуда было деваться, он мчался сквозь кальсоны почти до пола и только после этого поднимался вверх.

Я был очень доволен собой, своей молниеносной находчивостью, так необходимой настоящему моряку. Я смотрел на пульсирующие под давлением в три атмосферы кальсоны. Они шипели и трещали по швам, но иней послушно таял.

Когда человек начинает первый день самостоятельной морской жизни, он, конечно, испытывает страх перед неизвестностью, растерянность и острое желание увидеть маму, залезть к ней под фартук. Так как мама далеко, то следует заменить ее каким-либо собственным волевым действием. Утвердить себя в себе. Я это сделал при помощи казенных кальсон. И занялся дальнейшей разборкой чемодана, рассматриванием разных вещичек и книг, которые насовали родственники и друзья на память.

Я выставил на стол серебряную трехвершковую Венеру Милосскую – подарок жены брата. Подстаканник с малайской физиономией – подарок тети. «Атлас офицера», весом в пять килограммов и абсолютно бессмысленный, ибо, кроме схем обороны Царицына, там ничего не было, – подарок баскетболистки, которую я было хотел полюбить, но она полюбила другого. Когда другой ее бросил (за дело), я ее утешал. И она при расставании всучила мне пять килограммов меловой бумаги и схемы обороны Царицына.

К оттаявшей стенке каюты над столом я прикрепил фотографию Любы Войшниц – популярной в те времена балерины Мариинского театра в роли Тао Хоа из «Красного мака». Войшниц подарила мне мама. Она еще дала мне иконку Николая Морского и велела никогда с Николой не расставаться.

Я сидел, раскисал от воспоминаний, от тепла, от желания победить в себе страх перед завтрашним неизвестным днем, когда, быть может, мне надо будет вести корабль в море на спасение гибнущих людей, а я ровным счетом ничего еще не умею и не знаю.

Уже за полночь дверь каюты раскрылась, без стука конечно, и вошел мой первый капитан. Он оказался очень маленького роста, очень некрасив, в фуражке, хотя все уже давно носили шапки, в канадской куртке с разорванным капюшоном, в меховых перчатках, причем эти перчатки были такие большие, что казалось, он может использовать их как непромокаемые сапоги. Ему было за пятьдесят, лицо его было круглое, густо, асимметрично покрытое морщинами.

– Чего это вы здесь делаете, лейтенант? – спросил он меня и ткнул пальцем в пульсирующие кальсоны. Я представился и объяснил, что при помощи кальсон равномерно обогреваю каюту.

– Убрать! – сказал он.

Я, как и положено, сказал: «Есть!» – и, обрывая завязки, демонтировал отопительное сооружение.

– А это что такое? – спросил он, показывая на подстаканник.

– Подстаканник, – ответил я.

– Первый раз вижу человека, который идет служить, имея собственный подстаканник, – сказал он.

– Подарок друзей, – объяснил я, не решившись сказать слово «тетя».

– А я вас не спрашиваю, чей это подарок, – ответил он и ткнул пальцем в книги. – А это что?

Книг было много. Я надрывался, когда тащил чемодан по Мурманску к Каботажной пристани.

– Книги, – сказал я.

– Так ты что – приехал книги читать или служить? – спросил он меня.

Я пробормотал, что надеюсь делать и то и другое.

– То, на что ты надеешься, меня мало интересует, – сказал он. – Я могу дать гарантию, что ты будешь делать что-либо одно.

– Есть! – сказал я.

– За какие грехи ты сюда попал? – спросил он.

А я и сам еще не знал, за какие грехи попал на корабль аварийно-спасательной службы Северного флота. Это было довольно мрачное место в те времена. На спасательные корабли списывали хулиганистых матросов и самых нерадивых офицеров с боевых кораблей. Служить на спасателе означало, что следующим этапом, возможно, будет тюрьма или демобилизация.

– Ну вот, – сказал Гашев, – все знают, за что они сюда попадают, а ты не знаешь, хотя книжки читаешь.

И мне почудилось, что он уже кое-что выяснил про меня, что он уже прочитал мое личное дело и теперь знает обо мне даже больше, чем я сам.

– А моря вы боитесь? – спросил он, переходя на «вы».

Я сказал, что еще не мог проверить себя и не могу заявить ничего определенного.

– Ну, спи, – сказал он и ушел.

А я остался сидеть за столом и глядел, как растаявшая было изморозь на переборке опять начинает выступать на металле.

Я понял тогда, что служить будет тяжело; правда, я и раньше догадывался об этом.

Зосима Петрович был одним из лучших командиров аварийно-спасательных кораблей; с детства на море, человек трудной судьбы, одинокий и злой. Ему пришлось восемь раз в период военных действий тонуть. Его корабли подрывались на минах, их топили подводные лодки или штурмовики. Никакой вины за это на Гашеве не было и не осталось, ему просто не везло.

Но, будучи суеверными, моряки, получая назначение на судно, которое Гашев должен был вести в море, боялись и по-всякому отлынивали.

Роковая невезучесть может испортить характер любого человека.

Быть может, Гашев после войны стал спасателем именно потому, что ему много раз пришлось бороться за живучесть тех кораблей, которыми он командовал.

У него было сугубо личное отношение к морю. Они еще не сквитали долг друг другу.

Превратившись в профессионала-спасателя, он каждым спасенным судном доказывал морю свою силу и заставлял море уважать себя.

А может, я все это выдумываю или преувеличиваю.

Гашев был плохим воспитателем, так как забыл времена, когда знал профессию недостаточно хорошо, когда, как любой молодой моряк, сам допускал ошибки в сложные моменты. Он не считал нужным забираться в психологию подчиненных и просто требовал от них на том уровне, на котором требовал от самого себя. Его раздражало, когда молодые спрашивали объяснение того или другого маневра, того или другого поступка.

Про него говорили, что это человек, который может пройти под своим собственным буксиром. Представьте, что по морю идут два судна. Первое тащит на тросе другое. Так вот, про Гашева говорили, что если он командует первым, то может развернуться и пройти под тросом, то есть под своим собственным буксиром.

Когда так говорят о моряке, это значит, что ему отдается высокая почесть.

Главное, что я понял, наблюдая своего первого капитана, его правило: «Конечно, люди всегда помогут, но, если ты пошел в море, знай, что ты должен уметь надеяться только на самого себя. Ты должен знать свое дело и принимать на себя любую ответственность. И когда ты принимаешь на себя ответственность, забудь о том, что кто-то может тебе помочь».

Моим вторым капитаном был Василий Александрович Трофанов, старый помор, практик, без специального образования.

Василия Александровича в приказном порядке назначили почетным членом Мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы. Природу Василий Александрович никогда не обижал и назначение исполнял даже с гордостью, обязательно участвовал во всех сессиях, но у него был один бзик. Когда Василий Александрович выпивал, то делался болезненно подозрительным и страдал даже какой-то манией отмщения.

Однажды, когда члены Общества после сессии торопились к последнему автобусу, кто-то, по ошибке конечно, надел его галоши. Василий Александрович прибыл на судно в грязи и с белыми от злости глазами.

– Природу охраняют! – орал он. – Галоши украли! Слуги народа!

Я пытался его успокоить, а мой капитан рыскал по каюте и нюхал воздух. Дело в том, что весь спирт-ректификат получал я, так как командовал наиболее деликатной аппаратурой – электронavigационной и радиосвязи. На чистку аппаратуры положен спирт. Я прятал его за паровой горелкой.

Я любил Трофанова, как непутевого отца. Он был прекрасный человек и моряк.

В сплошном тумане он нашел мачту затонувшего австралийского транспорта. По чутью. Это было еще на сильнейшем приливном течении. Это было колдовством. Но это было.

Правда, когда мы шли однажды на спасение по Кольскому заливу, он спутал правый берег с левым. До этого он выпил две бутылки лимонного ликера. Мы с ним немного поспорили, когда он, внешне нормальный и спокойный, поднялся на мостик и приказал положить руль на борт. Ему казалось: мы идем не в море на спасение, а из моря; и это нехорошо: нельзя бросать в море гибнущих людей на произвол стихии.

Я доложил ему, что мы идем полным ходом на спасение.

Но лимонный ликер бушевал в его голове. И он опять сказал, что это плохо – нас ждут в море гибнущие рыбаки, а мы идем домой. Это, сказал он, нам никогда не простится.

Я еще раз доложил, что мы идем в море. Он кротко перестал спорить и попросил принести на мостик пряник. Ликеры он закусывал пряниками.

Он был прекрасный, добрый и чистый человек, но не мог забыть, что его коллеги по охране природы украли у него галоши. Я в шутку сказал ему:

– Василий Александрович, чего вы мучаетесь? Возьмите на следующую сессию рюкзак. Спуститесь из зала вниз до закрытия сессии, сложите все их галоши в мешок – и дело в шляпе.

Надо знать грязь, которая покрывала мурманскую землю в те времена, чтобы понять роль галош в жизни мурманчанина.

Он что-то хмыкнул мне в ответ. Мы как раз были в сложных отношениях. Я, будучи молодым и прогрессивным, установил на судне радиолокатор. А Василий Александрович вообще не знал, что за таким словом скрывается. Он знал только, что агрегат шумит под палубой ходовой рубки и раздражает.

Забегая вперед, скажу, что в наш спор ввязалась собака.

Мы ползли как-то Кильдинской салмой в кромешном тумане. И я включил радар. Агрегат завибрировал под ногами Василия Александровича. Конечно, мой второй капитан приказал немедленно все выключить, потому что ему не нравилось вибрирование палубы под ногами. Перед тем как выключить агрегат, я заметил впереди по курсу цель и сказал Василию Александровичу, что надо сбавить ход. Он надменно засмеялся.

Через минуту рулевой матрос доложил, что слышит лай. Окно в ходовой рубке было, как и положено при тумане, опущено.

– Какой лай? – спросил мой второй капитан и почетный член Общества охраны природы.

– Собачий! – доложил матрос, и прямо перед форштевнем возник круглый и могучий борт ледокола «Ермак». Если бы мы врезали в него тогда, то вы не читали бы этих заметок.

С ледокола, который стоял на якоре в самом неподходящем месте, лаяла на нас собака. Мы успели отвернуть.

Василий Александрович спросил:

– Итак, кто нужнее на борту: радар или собака?

Но после утреннего чая вызвал меня и, преодолевая самолюбие, сказал:

– Это хорошая вещь – радиолокация. Я старый уже. Мне трудно с техникой. Ты это на себя возьми.

Так поморская тайна, интуиция, дыхание человека в такт с волной сменялось техникой. И хотя я считаюсь еще не старым человеком, но это происходило на моих глазах. И ведь если говорить серьезно, я сейчас пишу воспоминания. И это в тридцать восемь лет.

Но вернемся к Василию Александровичу. Он смог понять необходимость радиолокатора, но пропавшие галоши забыть не мог.

Однажды, когда мы стояли в Росте в ремонте, он прибыл на судно с рюкзаком за плечами. Вахтенный у трапа скомандовал: «Смирно!»

И Василий Александрович, торжествующий и сияющий, взошел на борт, имея через плечо рюкзак галош, которые принадлежали остальным членам Общества. Он отомстил.

Мой второй капитан давно умер. И пусть земля ему будет пухом.

Плавал я и с таким чудачком, который не выносил шума, даже гула машин собственного судна. Все моряки вокруг капитана ходили на цыпочках или в валенках. А уши он затыкал ватными тампонами. Кончил он в психиатрической больнице, потому что однажды приказал боцману отдать якорь, но сделать это бесшумно. Боцман от безысходности попытался повеситься, шум поднялся уже в пароходстве и...

Мой близкий приятель, которого я уважаю и люблю, недавно утверджен капитаном на большое новое судно. Когда я пришел к нему, он сидел в каюте и декламировал на магнитофон «От двух до пяти» Чуковского, мяукая при этом детским голосом. Весь вечер он уверял меня, что ошибся в выборе профессии и что ему надо было стать Риной Зеленой. Чем он кончит, я еще не знаю.

Один старый капитан-наставник допытывался у меня, почему у него болит затылок, когда он пересекает параллель порта Берген. Причем совершенно неважно, на каком меридиане это происходит. Даже если Берген находится на одной стороне планеты, а капитан-наставник на другой, у капитана появляется острая боль в затылке. Он бежит на мостик, сует нос в карту и видит, что его судно пересекает эту проклятую, телепатическую, дьявольскую широту. Я ничего не смог ему объяснить.

Есть у меня знакомый капитан шикарного пассажирского лайнера. Он спит только в ванне, наполненной забортной соленой водой. Он утверждает, что такой способ отдыха чрезвычайно полезен, ибо тело капитана пребывает в состоянии невесомости, и ему хватает всего четырех часов сна в сутки. Я подумал о том, что рано или поздно он проснется утопленником, и сказал ему о своих опасениях. Он объяснил, что берет с собой в ванну спасательный круг. Он еще утверждает, что тот, кому суждено быть повешенным, никогда не утонет.

Особенно интересно получилось с ним однажды ночью в Скагерраке. Вахтенный штурман попросил капитана на мостик: к лайнеру на огромной скорости приближался какой-то сумасшедший корабль. Мокрый капитан – прямо из соленой купели – выскочил на мостик и впился взглядом в кромешную ненастную тьму. Там ничего не было видно, но на экране радиолокатора явственно отмечалась цель, упрямо несущаяся на лайнер. Мокрый капитан застопорил машины и положил руль на борт, но неизвестный пароход продолжал целиться в правый борт лайнера. А надо сказать, что судно, получившее удар в правый борт, считается виновным в столкновении, так как должно уступать дорогу. Мокрый капитан дал полный назад, и в этот момент мимо окон рубки засвистели стремительные крылья и закурлыкали гуси. Огромная стая птиц пересекала пролив и мчалась на огни лайнера в ненастной ночи. Я не знаю, чего было в рубке больше – ругани или смеха, когда уже обсохший капитан, кутаясь в халат, отправился досыпать обратно в ванну.

Я мог бы перечислять до бесконечности чудачества капитанов, но боюсь наскучить. Тем более здесь нет ничего смешного. Все это защитная реакция на специфическую сложность капитанской работы, на вечное одиночество в момент принятия решения.

Про моего последнего капитана, Михаила Гансовича, который сменил на «Воровском» моего тезку и одногодка, рулевой матрос однажды выразился: «Наш кэп – тихий, как ката-

фалк». И это точно. Я сделал с Михаилом Гансовичем четыре рейса через Атлантический океан, и он ни разу не взволновался и не повысил голоса. Ни тогда, когда нас чуть было не навалило на айсберг в тумане. Ни тогда, когда треснули от удара штормовой волны три шпангоута в носу. Во все эти моменты Михаил Гансович был спокоен, как катафалк. Он был спокоен, как катафалк, даже тогда, когда у нас посередине океана кончился запас соли.

Его главный бзик заключался в английском языке.

С нами отправили в рейс преподавательницу. Четыре часа утром она прибирала каюты в первом классе, а потом учила нас английскому. А у Михаила Гансовича был некоторый порок речи. Когда он быстро говорил по-русски, то понять его без длительной тренировки и привычки было невозможно. То ли корни уходили в эстонское прошлое капитана, то ли в давнюю картавость. И вот наш капитан перестал изъясняться по-русски и перешел на английский. Пока он, войдя утром в рубку, говорил по-английски: «Хау ду ю ду!» – все было терпимо. Но когда он, лежа у себя в каюте, старательно подбирал по словарю и продумывал, например, такую фразу: «Штурман, прикажите в машину. Пускай сбавят десять оборотов!» – и орал ее по телефону, то ты ничего понять не мог, но по врожденной штурманской привычке отвечал: «Иес, кэптейн!» – и чесал затылок.

Мы путали команды, и это могло привести к плохому. Мы все волновались, и только Михаил Гансович был тих и спокоен, как катафалк.

Пришлось регулярно ходить на уроки рыжей девицы. А она стала запросто шататься по мостику, ибо чувствовала себя в некотором роде капитаншей. Она чувствовала себя капитаншей, пока кто-то из рыбаков не тиснул у нее припасенную к 8 Марта бутылку шампанского. И правильно сделал – преподаватель должен сидеть в каюте и готовиться к занятиям, а не шататься по штурманской рубке и мешать штурманам вести сквозь шторма теплоход.

Итак, Михаил Гансович перестал говорить по-русски. И только в День Победы, на торжественном заседании, когда мы бултыхались где-то у Лофотенских островов, он вынужден был сказать речь на обыкновенном языке. Сперва большую речь держал помполит. Потом выступило несколько участников войны, которые, как выяснилось, в ней непосредственно не участвовали. И я еще подумал о том, что действительно те, кто воевал, уже перестают плавать. И что даже мое поколение – не воевавших, но хлебнувших – уже потихоньку начинает покидать корабли и суда. И плавают юные совсем люди, которым еще далеко до тридцати... Как быстро проходят вдоль бортов Азорские острова!

После всех выступлений экипаж попросил Михаила Гансовича рассказать о боевом прошлом. Он не стал ломаться и сказал: «Всю войну я был рядовым солдатом. Девятое мая для меня праздник еще потому, что в этот день впервые за войну мне выдали сапоги, и я стал ефрейтором. Сэнк'ю», – закончил Михаил Гансович уже по-английски. Конечно, на него обрушился шквал аплодисментов. Потому что быть живым человеком – самое трудное, и моряки это отлично понимают.

От нашего бурного «английского» периода у штурманов осталось навсегда одно британское слово: «эбаут», что означает «около». Спрашиваешь у сдающего вахту штурмана: «Где мы, паренек?» А он отвечает: «Эбаут Америка». И все хохочут, ибо действительно нет определений и где мы – сам черт не знает.

Пускай только эти строчки не попадают на глаза строгим товарищам из служб мореплавания. Но я надеюсь, что у них все-таки сохранилось чувство юмора и они не забыли те времена, когда сами глухой ночью сдавали и принимали вахту и травили морские байки так, как в этой главе делаю я. А для тех, кто в море не был и не знает особенностей морской «травли», придется сказать несколько серьезных слов о капитанах.

Послушайте голос из давних веков. Говорит лоцман Васко да Гамы мудрый араб Ахмад Ибн Маджид. Его голос вызвал к жизни ленинградский ученый Теодор Адамович Шумовский.

«Наставнику надлежит распознавать терпеливость от медлительности и отличать поспешность от подвижности, будучи сведущим – знающим в вещах, полным решимости и отваги, мягким в слове, справедливым, не притесняющим одного ради другого, выполняющим послушание своему господину, боящимся Бога, – да возвысится Он! Многотерпеливым, деятельным, выносливым, приятным среди людей, не добивающимся того, что ему не годится, просвещенным, разумным. Иначе он не правильный Наставник».

Вот сколько человеческих качеств должно быть у правильного капитана. Он в наше время является еще доверенным лицом государства, лицом, которому полностью вверена жизнь людей и поручено единоличное управление. Так что простим капитанам их чудачества.

В шторм и штиль

Комиссия в составе старшего штурмана, первого помощника капитана, подкипитера составила настоящий акт в том, что картина «Девятый вал» художника Айвазовского стоимостью 132 р. 39 к., входящая в основной фонд теплохода «Вацлав Воровский», была подарена подшефной школе № 14 г. Мурманска. Картина должна быть списана с баланса судна.

Подписи

Ветер свистнул, и океан передернул мокрой кожей, как передергивает лошадь от удара кнутом.

Далеко на севере, возле Земли Франца-Иосифа, смещался к югу центр области пониженного давления. Окружавший нас воздух рванулся туда, к Земле Франца-Иосифа. Родился ветер. Но он не успевал нацелиться на центр низкого давления, потому что планета быстро проворачивалась под ним. Сцепление воздуха с водой было слабым. И ветер отклонялся в сторону от направления, которое по логике вещей ему было нужно. Ветер злился, свирепел и отходил к норду.

Мы только что миновали Фарерские острова.

В настоящий шторм, в жестокий шторм высота волн настолько велика, что суда временами скрываются из виду. Края волновых гребней повсюду разбиваются в пыль и брызги. Море все покрыто полосами пены. Ветер, срывая гребни, несет пену и брызги, наполняющие воздух и значительно уменьшающие видимость. Грохот волн становится подобен грохоту ракеты. Солнце и небо делаются солеными. Корабельная сталь делается мягкой, и шпангоуты гнутся, а штормовые облака гремят железом. Обыкновенная бумага вдруг начинает пахнуть ржавой селедкой, а стекло рубочного окна – свежестью и электричеством.

Даже если судно по всем правилам морской науки меняет курс и уменьшает ход, удар волны может быть смертельно силен.

Невозможно оценить истинную энергию волны, когда следишь за ее приближением с высоты двенадцати метров, защищенный конструкцией ходовой рубки. Энергия волны кажется меньше, потому что за многие годы в тебе окрепло ощущение безопасности. Кроме того, волна, которая несется навстречу, и столкновение ее с судном вызывают любопытство, неосознанное желание того, чтобы столкновение оказалось возможно более сильным, чтобы брызги взлетели в самые небеса, чтобы случилось нечто неожиданное. Это противоречит чувству самосохранения, но край пропасти манит; манит увеличить ход и столкнуться с волной грудь в грудь.

В тяжелом гейзере брызг, родившемся от столкновения судна и волны, в глубоком крене, в хаосе воды и ветра есть нечто завораживающее, затягивающее. Песня сирен не выдумка древних греков. Сирены поют морякам и сегодня. Нельзя поддаваться им, поддаваться неосознанному любопытству, забывать страх.

Завлекающее величие штормовой волны исчезает, как только судно перевалит гребень. Вода на палубе, заплутавшись среди выгородок, кнехтов, вентиляторов, ведет себя растерянно: никак не находит лазейки, чтобы скатиться за борт, соединиться с морем. Остаток волны на палубе топорщится судорожными брызгами, как насмерть перепуганный зверек.

Ветер порывами приближался к одиннадцати баллам, когда я отправился в рубку принимать очередную вахту и вступил в конфликт с Айвазовским.

Огромная копия «Девятого вала» стояла в коридоре жилой надстройки. Огромная копия в тяжелой золотой раме. Выписать картину выписали и получить получили, но найти ей подходящее место на судне не удалось. И Айвазовский стоял лицом к переборке в коридоре. И

я тихо этому радовался, потому что никогда Айвазовского не любил по причине отсутствия у него каких бы то ни было мыслей. Живописец этот носил звание художника Главного морского штаба с правом ношения мундира Морского министерства.

«Девятый вал» я особенно не люблю. Когда-то на военной службе, чтобы увильнуть от шагистики – подготовки к очередному параду, я объявил начальству, что учился рисованию, и был отправлен в клуб, в распоряжение главстаршины – штатного украшателя казарм. Главстаршина прочитал направление и выдал мне открытку «Девятого вала», разлинованную в мелкую клеточку. «Сделаешь копию два на три метра», – приказал главстаршина. Конечно, я запорол холст и был изгнан из украшательной мастерской на асфальт строевого плаца. С тех пор я знаю, что стать Айвазовским не просто, что художник Главного морского штаба имел в кармане мундира секрет, при помощи которого умел делать на полотне воду мокрой. Но сути морей, штормов и штилей Айвазовский не знал. Хотя бы потому, что никаких девятых валов никогда не было, нет и не будет. Иногда идут волны значительно больше сестер, но при чем здесь цифра «девять»? Бред этот «Девятый вал». Недаром он коптится папиросным дымом в забегаловках.

В шторм наш «Девятый вал» завалился поперек коридора и перегородил мне дорогу. И мы вступили в борьбу, в рукопашный бой. Как только мне удавалось приподнять картину, так судно валилось на борт, грохот водопада заглушал мою ругань, 132 рубля 39 копеек валились на меня, и я чудом из-под этой махины выворачивался, в упор видя турок на мачте, и зеленый девятый вал, и яичницу-глазунью – штормовое солнце. Так повторилось несколько раз. Наконец я ободрал руку о гвоздь в раме, плюнул на «Девятый вал» в полном смысле этого слова и, не замочив ног, как Иисус Христос, перелез через бушующий океан, оставив его елозить на кренах по коридору жилой надстройки. Потом принял вахту и заклинился возле окна ходовой рубки, между радаром и переборкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.